15б
342

БРОМЛЕЙ * ИСПОВЕДЬ НЕРАЗУМ

НОВОСТИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Н. БРОМЛЕЙ

ИСПОВЕДЬ НЕРАЗУМНЫХ

РАССКАЗЫ

АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ „КРУГ" 1927

JP


Издательство
КРУГ

ОТПЕЧАТАНО
в 1-й Образцовой типографии
Гиза, Москва, Пятницкая, 71.
Главлит 91 098. Тир. 5 000 экз.
Зак. 3259.

Н. БРОМЛЕЙ

ИСПОВЕДЬ НЕРАЗУМНЫХ

РАССКАЗЫ

АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ
„КРУГ“
1927

ПТИЧЬЕ КОРОЛЕВСТВО.

РАССКАЗ АКТРИСЫ.

> Никто в России не выносит своего величия.
>
> Никитенко. 1858 г.

В золотую цветущую пору сердцевины XX века я доживаю свой шестой десяток.

Не бесславно сыграна мною лэди Макбет последней премьеры, — и кто скажет, что моя беловолосая голова в ночной сцене не была прекрасна?

Три десятилетия тремя светлыми звездами прошли над этой связкой бумаг, покрытых косиною почерка, как бы колючим ливнем, уносимым бурею справа налево. Писала я.

* * *

Сегодня надо мной посмеялась женщина, которая издали показалась мне одичалым ребенком

и которой тридцать лет тому назад была я сама. Тогда исполнялось десятилетие великой революции, и ураган, смертельно круживший толпы тел, вошел внутрь: толпы человеческих душ были охвачены смертельным вихрем. Это чистилище ввело нас в торжественный свет современности. Вот листки. Это первый. Написан языком, лишенным достоинства, это улица 20-х годов, вульгарный крик в толкающей толпе.

Ложь. Так не было.

Так было. Это я. Не надо было возвращаться. Ведь это я прихожу к самой себе и не рада встрече. Быть может, мы стали немного прохладными теперь?

Я переписываю все: листки с числами дней, позднейшую летопись с еще неостывшею, еще пьяною горечью о недавнем, полулитературные попытки осмыслить происходящее, все — вплоть до малоразборчивых записей, размытых пятнами слез.

I.

Старший рабочий сказал о Лизавете Крахт (— Крахт — это вечный мой камень преткновения): — Простите, стрепантена от софита отличить не могут, а за все берутся. Я была в восторге и слушала дальше о портном. Портного похвалил: — Человек ездовой, бывалый, с актером, как с те-

стом булочник, справляется, трико подтягивает как на лошади подпругу. Но любит человека обличить, ищет лучшего общества и по субботам на кладбище ночует. В голодные годы пил одеколон и предпочтительно «Льва Толстого».

Я ждала, чтобы он похвалил и меня. Грубый человек. Не догадался.

* * *

Гастроль сегодня. Этот у нас, который валяет Шекспира без дураков по всей Эсесерии. Стар, потрохов никаких, и мирно, как труп, сквернословит на все буквы.

Что я играю? Как всегда и вечно, предпоследнюю рвань, ибо я утверждаю, что роль королевы есть предпоследняя рвань и не что иное.

Крахт работает Офелию. За неимением голоса песенки произносит сумасшедшим фальцетом.

Репетиция. Сцена орла и курицы. Ибо вам известно мое мнение о Крахт. Она держит в передних лапках возвращаемый подарок, источая слезы величиною с кулак. И моргает. Вы знаете этих актрис, которые моргают? А старый орел, ее возлюбленный Гамлет, с гениально перекошенным лицом, отвечает ей столь сухо и отрывисто, с таким блистанием страстного цинизма в огромных глазах, что мне становится жарко.

Принц погримасничал, помахал Офелии ручкой и, уходя, оскалился от боли. Хорошо. Тотчас он вернулся из-за кулис, волоча ноги, и попросил пива. Щеки повисли с выражением приторного отвращения. Я не получила ни одного замечания, сделала директору скандал и потребовала отдельной репетиции. Директор, представьте, не явился. Гастролер подождал, вздыхая, и обнял меня от нечего делать. Я ударила его со злостью. — «Свинья, как больно», — сказал он. Мы прошли сцену, помирились, и он мне заметил: — «Вперед, если я тебя хватану — ты меня по морде». Опять пил пиво и спросил: — «Ты с высшим образованием, что ли, — Москва, знаем! А сама-то с кем живешь? ведь не с суфлером?» — Засмеялся и заснул.

* * *

Это старье вытаскивалось из всех закоулков страны. Актерские амплуа в эти годы перекосились на сторону. Сверх того образовались прорехи.

Например: искали мускулистого героя с маленькой моложавой головой. Не было таких. В результате заказали мускулатуру, и ее носил актер на орущие роли. В сезоне 1924 года он сыграл 253 спектакля. Неврастеники перешли на амплуа «ответственных», умирающих на посту.

На этих спрос был меньше. Комики не вылезали из крахмального белья. Спрос на резонеров увеличился вдевятеро, они стали неизбежны в народных сценах. Вообще резонеры играли всё. Любовникам не осталось другого применения, как бессловесно носить фрак и воздерживаться от всего прочего. Да и в мое время уже от всей этой пламенной породы оставалась всего лишь пара огрызков. С 1917 года если они и появлялись на сцене, то лишь по причине тяжелого ранения и обычно не далее третьего акта умирали под покровом знамен или проклятий. Что сказать о женщинах? Единственным утешением нашим были проститутки всех разновидностей, иногда немного Шекспира, об остальном нельзя говорить, не раздражая желчи. Сама Сара Бернар не вышла бы из положения.

* * *

«Покрась уши, — говорю я Лизе Крахт: — не выходи на сцену с мертвым ухом и скажи там всем твоим любовникам, чтобы мне реплик не срывали».

Я всегда перед выходом у нее на дороге, из-за этого она забывает ступить через порог правой ногой. Снимая серьги, она бежит обратно, руки дрожат. С меня довольно. Я исчезаю.

Локти у меня как белые мечи, ноги длинны, голос львиный, в моем сложении вся революция.

А что есть Крахт? Жена директора и мышь. Между тем Эйссен пишет для Крахт героиню. Сверх того у нее ребенок, необыкновенный. И она обожает решительно всё: мужа, ребенка и революцию. Все это ее монополизированная собственность. И меня обожает, но с умом; говорит: — Обожаю, хоть ты и противная. Много у нее всего, все вещи прочные. Я завистлива и пробую порой: не лежит ли что плохо у нее? Давно уже я беснуюсь, — она это знает.

Идем вместе по Кисловке. Я киваю на здание Моссельпрома и говорю: — «Этого нельзя показывать детям, они останутся идиотами на всю жизнь и потеряют способность к размножению». Крахт смешливо покряхтывает. Я продолжаю: — «Знаешь, был у меня друг из этих, из коммунистов: невозможно желтое лицо, на висках замученные жилы, но, слава богу, неразговорчивый, а то бы мы подрались. Ну, что ж, любил, дарил цветы, носил на руках. Все обыкновенно».

Она смеется легко, с веселым кряканьем, которое так мило публике, и говорит:

«Ты несовременна до кощунства».

«Напротив, — говорю, — я люблю всякую живность, и мне приятно, что он коммунист. Я всё люблю. Вели мужу дать мне твою роль в новой пьесе».

«Ты смеешься, — отвечает Крахт, но улыбка ее ужасна: — он не даст».

«А коли даст?»

«Тогда бери». Мы целуемся и хохочем, прощаясь. Она закрывает дверь, я дверь придержала и вижу, что от страха она посерела в лице. Так. До свиданья.

* * *

Когда поймут, что вздор невероятный всё кроме одного: человеческий голос!

О НАШЕМ ТЕАТРЕ.

Это Ноев ковчег, торжественно всплывший после потопа. Добротное всё для всех. Но старая Москва сидит в его углах, и запах дореформенных сигар никогда не покинет красного штофа наших портьер. Есть и у нас святилище и древность. Там желтые в крапинках обои, голые лампочки висят на шнурах перед двумя неряшливыми окнами; на ламбрекенах пожелтевшие облака белых гардин старого образца, кроваво-желтый крашеный пол облуплен под столом древнего ореха. Сыплется лавр дряхлых венков: кабинет первого директора, беспримерной славы благородного отца, умершего в году 1873.

Где это взять теперь?

О ПРОЧИХ, О ЖИВЫХ.

Видали вы этот паноптикум, это лихое сборище извечно падших героев? Этих птичьих королей, эту несменяемую династию орлов и кур? Актерскую шатию, невинную и вечно воинственную породу человеческих выродков, хранящих неизбывное младенчество, державных нищих, пустых мест, венчанных самодельной порфирой? Это мы. Мир круглый и душный, как воздух внутри летающего шара, мир, взлетающий над всеми потопами и который не будет забыт ни одним Ноем, ибо мы хлеб для людей. И, как хлеб, мы сами для себя не существуем. Мы хотим, чтобы нас ели и хвалили. И только. И едят. И давятся. И хвалят.

* * *

Вот наши театральные коридоры. Человек с испуганными белыми глазами извивается по коридорам, как ласковый червь. Он греет руки у отдушины, откуда мчится теплый ветер нагретых труб, греет, чтобы хватать людей за руки теплыми руками. Он ловит всех проходящих и смотрит им в глаза. В глазах его страх и жажда любви. Он сплетник, талантлив, ему дают мало ролей. Ибо успех его опасен: этот червь, получивши успех, перестает извиваться. Утконосая его голова становится недвижной главой васи-

лиска. Он может стать первым и тогда пожрет всех в отместку за страх и жажду, которые жгут его сердце. Это трагично. Белокуро сияют молодые люди; нежный блеск чинопочитания; они благодарны за всё, они получат много, сыграют средне. Им польза, и никто не расстроен. Девушки. Как везде, есть толстый. Он толстый. Как везде есть роковая женщина, называемая Дюма-фис. Она гибка. Есть прекрасный старик, Башмаков, мой приятель; красив, разговорчив. Гримируясь, с собой говорит в зеркало, доверчиво, красноречиво. Хвалит меня за статную фигуру, хвастливый ребенок и добр. Директор Лабзин — умный лавочник, о нем позднее. Есть рыжий сатана, прищуренный, веселый, с зеленым шарфом на шее. Умеет, братски обняв, короткой, кроткой речью рвануть за сердце так, чтобы до крови, больней чего нельзя. И после весел. После — дружба. Есть белый бегемот: пушистая, огромная крикунья, жизнерадостная, как солнечный брызг, восторженно безобразящая ежеминутно. Похожа на гигантского, свирепого и резвого и желтого птенца, страшно мила и неприлична. Есть приличная — Щегольская, богатая женщина, зовется «римской папой». Это плохо, но так она зовется. Спокойна; мы ее не любим. Она ни с кем не разговаривает. Это считают предательством. Вздор. Она всего лишь порядочна, вплоть до ки-

шек и скелета. Сразу она не ответит, а если ее задеть, цукануть, она медленно повернет белую шею в сторону собеседника и осторожно взглянет на часы в браслетке. Я думаю, из вежливости она себе самой наедине не называет нас сволочью. Но эта вежливость, сами понимаете, ужасна. (В Москве есть вежливый театр — это Новый, она оттуда.) Актриса неплохая, но чорт с ней. Я тоже не люблю, чтобы меня считали чернью. И, если вы знаете, что человек, выйдя из вашего дома, потихоньку вытирает свои подметки за порогом и не касается своего лица руками, пока их не вымыл, что̀ можете вы испытывать, кроме яростного беспокойства?

ВООБЩЕ О ПОРЯДОЧНЫХ, БЛАГОРОДНЫХ И УМНЫХ. ДВА СЛОВА.

В Москве их несколько. Это мои мучители. Встречаясь с ними, я становлюсь гнуснейшей обезьяной ума и благородства. Если бы мне еще удалось до конца скрыть мою грубость, хвастливость и жадность, куда ни шло. Они видят все это и, скрывая свою проницательность, говорят обо мне хорошо за глаза и в глаза. Я не люблю этого стыда; уходя от них, я чувствую себя горбатой и волочу ноги. О, мой театр, моя гнусная, моя обожаемая фантасмагория! Мое теплое грязное гнездо райских птиц! Здесь я вновь обретаю свою легкость, легкость крылатого гада. Мы

весело кишим в нашей золотой луже и называем ее именами океанов. Мое истинное великолепие здесь так же бесспорно, как яркий цвет моей крови. Оно все еще имеет среднюю рыночную цену, но об этом речь впереди. Полагаю, что я никого не дешевле.

Так я ему, директору, это и сказала и многое другое — и все ни к чему. Неприязнь директора, скандальный нрав мой — плохие козыри в театральной игре. В конце концов мы могли бы понравиться друг другу, и дело было бы вернее. Мне некогда быть умной, репетируешь всякую гниль, маникюр, портнихи, вечная дрожь внутри. Имею роман сверх того. Вздор и вздор. У директора чудный большой лиловый подбородок и белые волосы самоеда; хитрец, нежная хвостатая кошачья душа, прекрасный человек, не лишенный чего бы то ни было, даже скромности. Обожает все наши театральные помещения: залы, курильные, репетиционные, уборные, вестибюль, фойэ, все запахи этого дома, теплые углы, сквозняки, зеркала, паркеты, лестницы, большие и малые окна, все ниши, диваны, ложу дирекции. К сцене и зрительному залу относится опасливо: тут он зябнет, чихает, таит зевок озноба и ужаса. Обожает наше дорогое правительство за то, что к нему вполне можно привыкнуть, имея в душе лойяльность; кошачья душа с восторженной дрожью

в рыжем хвосте внимает хвале комиссаров. Не любит страшного: новых пьес, новых декретов, живых писателей, премьер, прессы и меня.

Чтобы он перестал наконец меня бояться, я принялась зевать в его присутствии, носить вязаные кофты, две недели не завивалась, не просила ролей, не красила губы и не сделала ни одного скандала даже одевальщице — никому.

«Знаешь, она как-то опустилась», — сказал он жене, и та отвечала с горячностью и тайной надеждой: — «Да что ты? нет!» Она суеверна, прелестна и лжива. Эти милые люди! Для того, чтобы я опустилась действительно, нужен по меньшей мере всемирный потоп.

Другой раз я подслушала: — «От нас зависит ее положение в театре, надо же, наконец, понять». — «Она поняла, — сказала Крахт с азартом, вот именно — она поняла». Тут мы встретились и поцеловались, а он усмехнулся мне родственно, потому что ясно было, что я боюсь за свое положение.

Я горестно боюсь одного: успеха Крахт в водевиле.

Нет бо́льшей муки для сердца нашего, как страх чужого успеха: это похоже на страх опасной болезни, тифа, холеры, сломанной ноги, семейного несчастья, большого землетрясения.

Успех средний, поэтому все веселы; а я дышу, как в первый весенний день.

Тем временем Эйссен, возвышенный, с бледным носом, пишет: пишет роль для слез и аплодисментов. Будь роль с пением и высокого роста, играла бы я. Нет намеков ни на то, ни на другое. Ее получит Крахт.

Что я могу сделать, люди? Нет милосердных, кого умолить? Выколите мне глаза, как птице заточенной, но дайте мне плакать и петь! Я могу кудахтать по-куриному, и я кудахчу за ваши деньги, я верещу и ною на все образцы, но кто же в мире певчей птице кладет запрет на песню.

* * *

Она сделает хуже меня, у нее лицо с наперсток, голос как из скважины и душа мышонка.

Дайте играть. Тут я много и по-настоящему плакала — и так застал меня однажды этот директор.

Он спросил: — «Что случилось?» — а я поверх мокрого платка посмотрела на него с раздирающей кротостью. Потом всунула голову в спинку кресла и задрожала плечами вполне натурально. «Если он положит мне руку на плечо», — подумала я, и он положил мне руку на плечо. «Если он попробует меня поднять», — подумала я, —

и он попытался это сделать, и я повернула к нему лицо, покрытое вихрами мокрых волос, и я сделала «горящие глаза», «полураскрытый рот» и ждала, что бог пошлет. И бог послал: я покраснела; от страха, вдохновения и тишины. Молчание стало неловким, очаровательным. Я встала, и он засмеялся, случайно толкнув меня плечом. Тут я ушла очень быстро и на улице прятала нос в большие обшлага и, напевая, весело гудела.

* * *

Мне нужно, чтобы Крахт затосковала. Когда актриса затоскует, она мертвеет всем телом, и все кругом слышат запах смерти. Актеры, как животные, чувствуют запах вещей, происходящих в душе. Скажем: мне почудилось веянье гари, и я уже воображаю пожар, золотые ручьи, огненный ветер, мне весело и страшно от того, чего нет. И вот в мыслях у меня роман с директором, глава четвертая, седьмая, которая хотите, и три варианта финала. Ничего не будет, но я согрета и превращаюсь в пожар и солнце. Утром перед первой папиросой даже в темени жадность и вибрация, в пальцах сладкая судорога и горение. Первый глоток дыма пронизывает возвышенным восторгом все суставы и кости. Меня подни-

мает, вырастая, гора, и сверху, опершись спиною в подушку, боготворя весь свой телесный состав, прохладные руки кладешь на колени, слушаешь утренний час, могучий гул его первоначальности и смотришь в мир, где ходят трамваи и над крышами домов в туманном приволье начертаны письмена всех обещаний и всех возможностей.

На кресле лежит купленный вчера креп де шин, он кажется мне лиловым котенком, которому предстоит прекрасное будущее.

Вообще не буду писать о тряпках, потому что кто-то же из слов моих в мире поймет, ч т о э т о т а к о е! Эта тема ждет своих евангелистов. Моя приятельница, несчастливая прелестная актриса, покинув театр, встречает на улице Станиславского. После десяти минут приветливых речей они расстались. Актриса не получила ничего, но не знает, куда себя девать от восторга; великий человек дарит крылья, она окрылена, и крылья несут ее в рай и немедленно. Что остается делать? Она идет и покупает себе белого шелка на платье. Деньги последние, платья она не наденет. Но в этом — вечность.

Приходит маленькая, с бритой головой, из актрис, она услужлива, любопытна и плаксива. Хранит все тайны. Мне кажется, что она предчувствует мою зарю. Мы болтаем. Я объяс-

няю ей, как надо работать «на большую актрису». Во-первых, делаю гимнастику, чтобы подобрать живот. Живот чудный, с выгибом, но Мар. Григ. говорит, что надо его уничтожить. Мир становится идиотским, знаешь. Потом вот стихи, посвященные мне: «С ножом в руке тебя люблю»; потом вот стихи, посвященные бывшей России — слушай, читается так: П о с л е д н е е п р о с т и п а т р и о т а:

Прощайте, свалочная яма,
Где я, сгнивающий, лежу.
Сейчас заплачу и скажу:
Рассея! дорогая мама! —
— Последний отдаю визит
Сему огромнейшему натюрморту,
Свиньей от коего разит —
И к чорту! к чорту!

— Чудно рычишь, — сказала она, — а креп де шин...

— Слушай, креп де шин, — говорю я, вдохновенно разъярясь, — а вот моя новая пантомима: рот, видишь, кривится, зубы видны немного. Я уже плачу.

Она нервно рассмеялась: — «Удивительно, как это ты» и стала рыться в моих вещах; я ее прогнала и тут же решила пойти на квартиру Лизы Крахт посмотреть, как они там живут, и что у нее там есть.

Вот что я там получила:

Двое маленьких людей сидели у стола. Хозяев не было. Двое пили чай с сухарями и говорили на языке необыкновенном. Она была крохотная француженка с лицом, горящим румянцем и скрытой пламенной жизнью; он — золотоволосым ребенком лет трех.

Она смотрела на него с невыразимой любовью, и маленький ее красивый рот казался счастливым и замученным этой любовью.

Мальчик стащил конфету, она взглянула на него с исступленною укоризной:

«Как неприлично».

Ребенок квакнул коротко и вынул конфету изо рта. — «Не сердись», — сказал он.

— Нет, я рассердилась, я рассердилась.

— Нет, не рассердилась! — закричал он повелительно, и она его обняла.

— Ты къасивая? — спросил он, крохотными руками трогая ее лицо.

— Красавица, très jolie, — сказала она, глядя на него со слезами нежности: — а это кто? — и поцеловала его маленький нос.

— Это я, се муа, не трогай нос, — ответил ребенок.

Я смотрела на них с чувством страстного возмущения.

— Маленьких нет? — спросила она меня.

«Я имела пять абортов, m-lle: сцена».

«Как жаль, ах как жаль, — сказала она: — mais у нас тоже сцена».

«Вы под защитой дирекции, m-lle», — ответила я.

Она держала ребенка на коленях и смотрела на меня горящими жизнью глазами. Видно было, как ей хотелось что-то сказать, но она промолчала. Ребенка увели.

Эта женщина ясновидящая. Она смотрела на меня и говорила мне обо всем, что мне хотелось слышать.

Я ей нравлюсь, на моем лице «отражается вся моя внутренность». — «А Лиза Крахт?» — Madame очень счастлива, слишком, слишком счастлива. Она талант, вы как думаете? И да и нет: «выучкина, вышкольная», Monsieur? О, это человек, мужчина. Но зачем иногда «галстук валяется у него на груди, не завязан, и надо застегать всегда все пуговицы, n'est ce pas vraie? — а он невсегда. И когда он пасмурный, usé, от него всякий интерес отскакивает. Человек должен всегда испускать из себя какой-нибудь интерес. Мадам счастлива, но он ее держит в «жестких рукавах». Он честный, благородный, et puis il l'aime. Il sait aimer».

Я слушала. Кошка на ковре чистилась со щелканьем языка и со стоном. Долго. Потом ушла виновато и грузно шевеля боками. Я слушала.

Теперь о театре. О! Она была au courant всего.

Люди у нас ужасны: «помойное ведро».

Обо мне говорят хуже, чем я думаю. О! Она многое видит и слышит. Мне стало хорошо и жарко. Она продолжала: — Ах, знаете, есть русские выражения. Tellement rafraichissantes, так освежают. Простите, например: и она маленьким румяным ртом с восхитительной свирепостью произнесла: — к кузькиной матери! — и взяла меня за руку: «правда!».

Я люблю, когда мне становится жарко. Мне жарко от этого «говорят». Человек, который извивается по коридорам, цепляет под руку всех невредных девушек и говорит: — «Какие новости, душка?» Приэтом он жадно изгибает рот, готовый глотать гадости, тайны, клеветы. Он съежился, получив мало корма, и весь золотеет жадным блеском, когда он сыт доносами и подозрениями. Другой сидит во всех креслах, внутри всех ниш, позади всех дверей и читает газету. Из-за газеты выплывает пушистое алое ухо, большая невинная щека. Щека слушает.

То, что «говорят», сперва ползет мокрицей вдоль стен, превратившись в веселого змееныша, свивается во всех закоулках и, наконец, развернув новорожденные крылья, пролетает, жужжа смертоносно, из верхних костюмерных в вести-

бюль, на обратном пути мечется, ища жертвы, и жалит. Вечером ссорятся в уборных, актриса рыдает всю ночь и рвет зубами подушку, и кто-то, рисуя дрожащей рукою наплаканный глаз, затирает телесной краской желтизну ненависти на бедном актерском своем лице.

Чего ради, в конце концов, все это! В нашем птичьем королевстве ежедневно сменяются главы, чины, власти и начала. Это страна постоянных колебаний почвы. Это рыбий садок, куда бросает приманку некто извне, и скользкими грудами рыбы, прыгая друг через друга, рвут ускользающее счастье. Кто будет нынче коронован? Чей выигрыш? Кто, как бывает только во сне, разрастется из былинки в цветущий огненный куст, из птичьего зародыша, заморыша, птичьей тени в живую орлицу?

Вот эта маленькая хочет быть ангелом! Кто сделает ее ангелом, наконец, кто зашьет ей небесные ризы серебром сбывшихся надежд? Ах, она так бы хотела быть новопредставленной, со сложенными ручками и выпевать стеклянным голоском про самое высшее — под гром аплодисментов. Иль танцовать на лужайках в виде обожаемого ребенка, который моргает на восхищенную публику, отдавая ей все свое святое сердце — и совершенно задаром. Другая хочет быть голой в уличной витрине — и сцена должна ей дать

эту радость, хотя бы ценою крови. Все, что закования в сердце и теле запретом, законом, все натуральное и недолжное, все черезмерное хочет рождаться на сцене чудовищно, великолепно, хочет ценою всего в мире осуществиться, выкричать душу, выхохатывать всеми струнами тела, до сотрясения печени, до вывиха челюстей, хочет убить, наконец! — убивать хочет каждый. — И потеть, плакать, молиться, показываться, мстить.

И хотя бы в день генеральной полопались все звезды в небесах, ничто не страшно, только ужасен последний час, когда станешь у холщевой или дощатой изнанки кулисы, от дрожи шатает, рот раскрыт и не дышит, глаза остановились, в них призраки гибели, казни? Помилуют? Потеплеет от радости тело или это конец? И когда подумаешь в эту минуту, что твой ужас и гибель пришлись бы многим по вкусу, вот тут и держись. Потому что голова твоя кружится над провалом, а кругом уже поют вполголоса твою заупокойную. Так-то.

* * *

Есть Новый театр на Театральной; там живут прекрасные люди и туда никого не принимают. Чистый театр, величавый, там гнездятся орлы; там люди друг другу священны. Это огненный дом. Там нет ни лакеев, ни предателей, ни

продажных, ни разовых женщин, ни красных занавесок в закулисных коридорах, похожих на коридоры домов свиданий, ни проезжих молодцов из актерской сволочи, растерявших талант и пристойность в притонах, похожих на театр импровизаций, в театрах, похожих на притон. Нет маслянистого запаха плесневеющих душ, людей подобных перепеченной просвирке или репе перепрелой; они там торжественно дышат воздухом нашего времени и называют его горным.

Это дом живых. Я не могу запомнить цвета его стен, это цвет грозы и солнца, а внутри этого дома стоит многоконечная радуга, упираясь концами в яркие зеркала. Иногда я говорю о них иначе:

— Это прохладные люди с раскаленным мозговым веществом. Поэтому они носят головы на своих плечах с величайшей осторожностью. Они работают неслыханное количество часов в сутки, и единственно, что их переутомляет — это их вежливость. Ибо они вежливы даже в трамвае, даже на премьерах чужих театров. Они отглажены до последней складки, их носовые платки ослепительны. Постоянное усилие никого не презирать и со всеми здороваться влияет несколько на их цвет лица. Но они никогда не умирают несвоевременно. Один из них, говорят, даже играл ответственную роль после своей смерти и умер

официально только под занавес третьего спектакля, когда успех был обеспечен и подготовлен дублер.

Все это грандиозно. Мы ходим плакать на их спектакли. Там есть Богомолов: это крохотная птица с огромным орлиным голосом, с золотыми потоками гневного смеха. Говорят, они сами пишут свои пьесы. Впрочем, Эйссен тоже писал для них. Глюкэйс и Товарищев тоже.

Туда хотят все, и там никого не принимают.

* * *

Эйссен писал и писал у себя там на даче, а история с директором не подвигалась.

Встречаясь с женой в фойэ, директор брал ее под локоть, а она смотрела на него снизу вверх, как в надежное зеркало, и голоса их были счастливы и сонны.

И вот, когда ее не было в театре в день монтировочной, я забралась на колосники. Директор вместе с рабочими был на сцене. Мне нужно было, наконец, поразить все воображения и свое также. Я прошла сперва на галлерею: пустыня, тьма, голубой мертвый свет из-за углов — там верхние полукруглые окна театра. Ряды черных номеров над голыми вешалками в облупленном бедном коридоре галерки. Открыта убогая дверь: зал;

вижу бледную люстру в своде потолка; летит она там или кружится? Далеко внизу стоит фонарь — на полу сцены и делит ее пополам черной тенью.

Зажигаю спичку, иду коридором, черно, враждебно. Дверь, открываю, железная лестница, в глубине подо мной плывет сцена.

Я поднимаюсь: отовсюду углы теней, желтизна слабых ламп.

Наконец, большая площадка, палуба, на ней валом навалены круглые груды веревок, точно логово серых змей. Стою на площадке, здание как бы медленно накреняется подо мной. Сцены не видно: тучи цветных парусов. Чувство кружения или полета: корабль!

Просвет между двух декораций: внизу в виде четырех темных смерчей повисли убранные сукна.

Рабочих нет; он один. Бродит, там далеко, толкая ногами вещи, лежащие на полу сцены.

«Здравствуйте, директор», — кричу я. Глухо, просторно звучит. Поднимает голову, не видит, быстро пошел к лестнице; я отбежала к краю площадки, он слышит тревожную возню, его шаги стучат торопливо. Эта погоня меня восхищает. Легче спрятаться на одном из перекидных мостков; это узкие длиннейшие корыта для перехода с одной стороны потолка на другую; тесно в висячем на балках корыте, оно ненадежно. И вот

я вишу под потолком в ладье, дрожащей над колодцем сцены, мне дурно, я гибну.

И тут он меня находит, кричит на ходу: «Уходите оттуда!» — в крике страх и мрачность; вот он у входа на мост, я стою в середине, узко, шатко, жутко. Я не уйду и не отвечу на крик. От бешенства и темноты лицо его кажется старым. Взойдет на мост? Мост содрогнулся: директор идет осторожно, боком, трогая перила, ладья зашаталась, он стал, задыхается. «Идите, — говорит он: — сорвемся к чорту». — «Я не хочу». Тогда он подходит вплотную, впился мне в руку, толкает к себе, тянет; иду. Вывел на лестницу, у него тяжело ходят плечи. «Зачем это? — говорит он: — что это?» Я отвечаю сквозь зубы: — «Ищу высокого положения в театре». У него вздрагивает щека, и он принимается опять меня тащить, тянуть, толкать, выворачивает мне руку, ибо я сопротивляюсь, повторяет со злостью: — «Не кривляться, будет уж, не кривляться». — «Больно, упаду!» — кричу я. «Ну! довольно безобразия». — «Нет, не довольно».— «Что? что такое? — мучение, гадость!» — говорит он и свирепо меня обнимает уже на последних ступенях.

* * *

А в первом ряду кресел, протрезвляясь после вчерашнего дыма, сидел и курил мой старый

приятель, Башмаков. Глаза его сперва косили, следя за синим свечением папиросных дымков в полутьме, потом глаза распрямились, стали на место, и нашу встречу с директором он рассмотрел.

Дорогой мой старик, он терпел до утра и, не встретясь со мной, облегчал взбухшее сердце бормотанием в зеркало в час гримировки. Тут было и «да-с и «хехе-с», и «поехала с горки актриса», и «что-с, артист Башмаков, получили приятность», и «Катя, Катя».

И прочее.

И воздух театра это услышал, и у стены родилась мокрица. И поползла.

НА ПАПИРОСНОЙ КОРОБКЕ:

Сегодня один знакомый мне сказал, что Ленин был действительно гениальный человек.

ДАЛЬШЕ ЗАПИСЬ НА ЛИСТКЕ:

Что же, разве я недовольна? Я довольна.

Но, очевидно, это относилось к театральным сплетням.

ПОТОМ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ДНЕВНИК:

Мне надо было освободить вокруг себя пространство. Для этого я позвала к себе своего друга, который человек унылый, влюблен и страшно интеллигентен. Он сел в кресло очень прочно; прокуренное до арапской смуглости существо.

Эта смуглость представилась мне два года назад эдакой обугленностью, и все это вместе вулканическим скептиком с проседью. Все это вздор и моя беспризорность. Я начала и храбро и вяло. У меня не нашлось даже злости. Я сказала: — «Вообще какая нелепая вещь всякая связь. Это придумал гениальный дурак».

Он понял, к чему я клоню, и сказал, отвернувшись: — «Да, к сожалению, гениальный».

Я взяла на руки свою кошку и дула на ее шерсть; кошка замерла от страха и ожидания, ибо мы давно уже были с ней в ссоре. Тут я высказала ряд соображений о том, что «не иметь любовника — это чепуха, потому что у всякой женщины без любовника бессмысленное и старомодное лицо, будь она сверхпервоклассная. А главное, если на женщину никто не клевещет, она непременно чувствует себя обездоленной. Любовник и клевета делают ей положение в обществе, и уж по крайней мере она знает, что̀ о себе думать».

Он с упрямым и больным видом ответил:

«Значит, все прекрасно».

В кошачьем храпе гудело что-то страшное.

«Кот, не шуми», — сказала я, и продолжала храбрее: — «Знаете, ведь ни о какой любви не было и речи, разве я в состоянии сказать вам любовное слово?» — И я подула на кошкину морду.

— Я знаю.

Тут я решила итти напролом. Он сгорбился и все искал, куда положить окурок.— «У меня к вам отвращение, вы заметили?» — сказала я. Он ответил беззвучно: — «Это как раз то, что вам нравится.—«Вообще, гнусный случай, — сказала я:— не довольно ли?» Он ответил: — «Для меня — нет». Я вздохнула и погладила кошку: в утробе у нее, клокоча, варился ужин и горячо рычали сны. Он закурил папиросу, и тут уж я рассердилась: — «Пошли бы вы домой,— сказала я,— и уж не приходили бы больше». Он встал, погасил папиросу о подошву и долго искал что-то у себя в карманах.

У мужчин бывает честное грубое лицо в таких случаях. Он взял пальто, захлопнул за собой дверь и надевал пальто, спускаясь по лестнице. Он позабыл калоши. Одну я выбросила в сад, другую — на улицу.

Вернувшись, я опять взяла кота на руки, и он обнял меня за шею, почувствовав мою доброту, и заурчал. Мы помирились, я его гладила, он разошелся, он икал и квакал, покаянно и счастливо рыдая, а желтые его глаза были одиноки и страшны, как пустыня.

* * *

Получила от этого бывшего друга стих в конверте:

Я вас звал, вы были немы.
Ах! Вы заняты иным:
Вариант старинной темы
Вы сыграли с Лабзиным.

Когда это он меня звал? и что это он «ахает»?

* * *

Был торжественный случай в театре. Раут, празднование.

В фойэ паркеты сияли и попирались воздушно черным лаком туфель. Страшно розовые девушки взлетали по лестницам, затем спускались мерно, изгибая шеи подобно лебедятам и отставив мизинцы; через срок небольшой взлетали снова и снова спускались; лестницы были их выставкой, в этот день многие могли их видеть.

Качая плечами с ледяными неглядящими лицами прошла шеренга роковых женщин; парчевые кресла скользнули им навстречу, и они опустились в кресла с египетским движением спин, держа прямую позу разбуженной змеи. Среди роковых была наша Дюма-фис, но она держалась как гостья и смотрела в лорнет на старую буфетную прислугу. Одна знаменитая дама вступила в зал, облеченная красным шелком знамен. Актеры все как один озирались с конским аллюром в праздничной надменности. Мой белый бегемот

багровела, шевеля пальцами в подержанных туфлях. Тоска и озноб торжества нас раздирали. Сам Станиславский пронес над черным половодьем толпы свою голову укротителя зверинца, подобную белой хоругви. — «С ума сойти, что делается», — сказала бегемот, но Щегольская, которую ничто не могло заставить страдать, недрогнувшей рукой подала чай великому человеку.

Началась программа приветствий. Открылись большие стеклянные двери, и двинулось шествие — и все улыбнулись ему согласной улыбкой. Великолепное четвероногое, гривастый верблюд, составленный из двух человек, шел впереди, обутый в английские ботинки; за ним поздравительный кортеж, и все это от Нового театра, того театра, который так многим мешает мирно спать; мне — первой.

Верблюд стал, содрогая выгнутой шеей, его вела пернатая кудлатка. Верблюд качнулся, ударило «дзын», и пищалка пропела нечто убедительно обиженное, как верблюжья душа. Хохот. Кудлатка металлически вскрикнула. Верблюд верблюжьим гнусавым басом, танцуя, запел: он пел следующее:

Среди долины Умбри — я
Вдали от здешних стен,
Цветут — цветочек Скумбри — я,
И птичка стре — пантен!

Верблюд качался и вихлял боками, востроносая кудлатая душка летала, вскрикивая, и раскидывала ручки.

Маленький, ярко белокурый с озорной и кроткой мордочкой гениальный Богомолов, побледнев от серьезности, сказал несколько слов о родословной верблюда. Хохотали и плакали, хохоча. Он уронил слезу, извинился и, кланяясь, вынул ослепительный платок. Аплодисменты.

Потом из верблюжьего живота вынули эстраду, и на ней, торча фалдами фрака и выгнув правую ногу, подобно коню, роющему землю, воздвигнулся «Джон Личардсон настоящий». Он вздыбил черный ус под наморщенным носом и потер руки. Глаз, яркий и круглый, вращался угрожающе и вдохновенно.

«Проездом чересь — то есть скрозь этот город», — сказал Личардсон и резко смолк, пережидая смех.

— Я, профессор черной и белой магии, Джон Личардсон настоящий — даю гастроль! Почтеннейшая публика и интеллигенты!

С вопросительным восторгом черным кустом торчали брови, торчали детские верящие глаза.

Не от райской ли чистоты сердца родится этот блаженный вздор?

Мы орали, душили кудлатку, целовались, детское круглое лицо Личардсона прыскало сме-

хом; потом все четверо исполнились томностью покоя, четким достоинством, прижали руки к святым своим и гордым сердцам. Поклон. Исчезли.

* * *

Под утро пили мы в моей уборной. Как всегда, я боролась с тоской. Чужой режиссер рисовал красным вином мой портрет на чьей-то манишке. Двое дураков обнимались, пытаясь включить и меня в свои объятия, я отталкивала их, читая письмо, с утра забытое в сумочке. Моя подруга, обремененная тысячью катастроф веселая женщина, мне писала:

«Украли мою кошку, и личная моя жизнь кончилась. Меня утешала еще твоя карточка на стене, в рамку которой любили заползать клопы, и каждый вечер я могла развлечь себя тем, что вытаскивала их из-под твоего изображения. Теперь вдруг и клопы пропали. Нет больше личной жизни».

Я засмеялась и сказала:

«Православные христиане, у кого есть личная жизнь?»

— Вы моя личная жизнь, — сказал чужой режиссер; он облил мою руку вином и сосредоточенно подбирал его с моей руки губами.

Тут наш директор вдвинул себя легонько в дверь и замер блаженно на диване; режиссер

сказал: — «Давайте меняться актрисами, я люблю эту женщину безумно». Но директор был еще более пьян, пьян необузданно от восторгов торжественного дня, он лиловел до затылка в приливе авантюризма и жажды восхитительных безобразий, от которых хранил его долго первоклассный домашний очаг. — «Она моя, — сказал он, сияя идиотски, — и никто ее не получит». — «Пьяная собака, — сказала я, заливаясь тонким одуревшим хохотом, — что ты сказал, домашнее животное?» Директор наклонил голову подобно белому быку на испанском ристалище и уставил на меня хитрый, пьяный настойчивый взгляд. — «Не целуйте ее, говорю серьезно», — пробормотал он, изнемогая. Я хохотала как захмелевшая прачка, старательно и бегло выговаривая всякий вздор. В углу дивана белый бегемот пускал пузыри и плевался, толкаясь ногами. Чужой повторял: — «Юпитер, Ютипер, ты сердишься, вот мое ремюзе»...

— Юпитер — это фотография на Поварской, — сказала я, впадая в сонливость.

Внезапно ввалился мой растрепанный старик с красными рябинами на просветленном лице. «Мама, за что?» — вскричал он — и повалился на колени. Рыдая, он ухватился за край ковра и стал его тащить из-под кресел, пока не сдвинул всех нас к стене; наконец он, подняв ковер дыбом,

кинулся обнимать его в облаках пыли и, упав вместе с ковром, разбил себе голову. — «Поливай его из графина», — сказала я директору. Бегемот завизжала и затряслась. — «Брызни в бегемота», — сказала я. — «А если он умрет?» — сказала обрызганный бегемот и заплакала равнодушно. — «Кто? Я? никогда!» — сказал раненный человек и потребовал себе кофе.

Так проводили мы ночь, невинные, бессмысленные люди, одаренные всем, кроме ума и совести.

Впрочем, для себя я делаю исключение. Ибо, когда директор, обняв, провожал меня по лестнице, я подумала о том, что большинство театральных романов своим происхождением обязаны алкоголю, и сказала: — «Что ж ты хочешь, директор, чтоб я совершила классический шаг актрисы во имя бессмертных интересов искусства?» — и он ответил, сжимая мои ребра: — «Завтра после репетиции, Катенька, дорогая». Навстречу бежала Крахт. — «Котик, мы помирились с Катюшей», — сказал он, и она ответила кивками и смешком. Директор вышел на улицу без шляпы и пальто, поднял меня на руки, чтобы посадить в извозчичью пролетку. — «Не хочу, ты будешь целоваться», — сказала я громко нараспев. Тогда он донес меня до остановки утреннего трамвая и попытался взгромоздиться на площадку, держа меня

на руках. В оттаявшем пустом вагоне он сел у моих ног на грязном полу с выражением строгости и торжества, и на ближайшей остановке был выброшен кондуктором вон.

* * *

В эту ночь в театре, в то время как мы танцовали, на чердаке повесился актер.

* * *

Через день из двухлетнего изгнания вернулся поседевший человек, которому наш театр был обязан двумя десятилетиями славы. Знаменитый изгнанник пришел в час, когда театр пустует, и обошел его снизу доверху один и попросил сторожа показать ему место на чердаке, где повесился актер.

* * *

Еще прошлогодней весной перед отъездом подхватили меня озорство и резвость и понесли на дачу, где за столом у деревенского окна умный человек с бледным носом сидел, писал пьесу. В крайнем случае, — решила я, — буду плакать, но главная роль должна быть с пением и большого роста. Тогда Крахт ее играть не сможет. Этот Эйссен совсем меня не знал, но в тот день мне казалось, что все на земле и в небесах друг другу знакомы.

Помню, как тронула меня дачная природа. Впрочем, ели не очень-то распростирались, они подобрали свои колючие кресты и стояли как на горячих угольях. Смола и хвоя пытались пахнуть без всякой церковности, и последнюю самоуверенность потеряли березы. Они стыдились своего прошлого. — «Ваше дело», — сказала я и сорвала несколько трав по дороге. Я шла к писателю, чтобы добыть себе хорошую роль в современной пьесе.

Я сделала все, что от меня зависело. Я сунула ему в рот молодой побег огуречника и потребовала от него воспоминаний детства. Упомянула о диких грушах, которые воровала в бабушкином палисаднике и, почернелые с сахаром и золой, ела на чердаке. Он все это вынес, и только.

Тогда я, найдя монолог в его тетради, стала недвижно, подняв вуалетку; он закурил; я зашептала, дрожа подбородком: потекут ли слезы? Они потекли. Они текли великолепно. Он отодвинул свой стул. Я пала на колени и львиным голосом простонала, что полагалось в конце. Вставши, съела конфету, хвалила стихи. Никаких результатов.

Тогда я сказала ему: — «Вас считают моим любозником», но уже он ничему не удивлялся и мирно ждал конца. — «Сделайте эту роль с пением

и большого роста», — сказала я наконец; он смотрел на меня, как в зверинце добрый зверь, которого дразнят. Я стала хохотать и попросила чаю. Тут он успокоился, а я рассказала ему свои интриги.

Тогда была легкость, весна, веселая разведка, небольшой вылет в пространство.

Я хохотала и в дачном вагоне, одна, возвращаясь; в окнах летели заря, травы, разливы.

Четверо пьяных были в вагоне, один другого милей. Малый в мохнатой шапке сторожил на скамье с виноватым видом другого, который из-под скамьи пророчил и взывал к неправедному миру. Пришли люди, вытащили из-под скамьи пророка — строго, вежливо, даже скорбно. Вывели. Тогда некто с обвязанною головою произнес: — «Может быть, они не кушали и упали духом, это надо понять» — и тотчас повернул голову в профиль.

«Знаете, — сказал молодой с восторгом, найдя понимание: — они не кушали с восьми до трех: ремонт на даче. Тут впоследствии обнаружился знакомый, они выпили вторично. Но, конечно, если они показывают из себя такую комбинацию и поведение против закона, то и с ними поступают против закона», — и, улыбнувшись мне расстроенно, сказал: — сколько этой ужасти имеется в человеке.

— Кто пьяный, а кто увечный, — сказал обвязанный скороговоркой и высунулся в окно.

Третий пьяница стоял у другого окна в кожаной куртке с лицом необыкновенным, мрачным и ответственным. Он медленно и страшно повернулся, сверкая темным фанатическим глазом красавца.

«Кто тут поил? — спросил он грозно и тяжко. — Вы кого поили?» — и внезапно и резко вышел из вагона со страхом и гневом преступника, бегущего закона.

Помолчали. Шапка произнес: — «Непонятно». Обвязанный встал, наклонился к нему и сказал таинственно: — «Знаете, они своей функции не понимают», — кивнул и сел.

Наша республика страшна, талантлива, прелестна и во хмелю возвышенна до святости. Я дрожала от смеха в своем углу, мне хотелось быть пьяной и громко желать счастья себе, этим пьяным, всей нашей стране и нынешнему вечеру.

* * *

Зимою меньше себя любишь, зимние поступки значительно хуже летних, летом недостаток совести заменяет веселость, летом любуешься многим без зависти, и это, как хотите, возвышает.

ТЕПЕРЬ КРЕПКО.

Маленькая актриса Большого театра понравилась директору. Ежедневно она обсуждала свои шансы в коридорах с подругами. Директор не был уверен, что именно на ней ему следует остановить свой выбор. Подруги были озабочены, разгорячены, насмешливы. Однажды утром она пришла и, выйдя в коридор, сказала им: — «Ну, теперь крепко».

* * *

Наш директор моложе и проще; он был в восторге и в ужасе от своего падения. И вот мы лежали на ковре, плача вдвоем. С похмелья плачется, все страшно, все жалко. Придумать что-нибудь умнее я могла бы, но этот человек не любил ничьего ума, и за мою глупость и за мои слезы и за свой школьнический восторг он обещал мне всё, что мне было нужно.

* * *

«Остановитесь. Эта роль моя. Я ее играю. Где пьеса? Это что? «Да здравствует»! Кто это да здравствует? Никому не нужно. Я этого кричать не буду». — «Подождите». — «Нет, это вы теперь подождите, у меня козырная игра. Дальше: «рыдает». Из-за чего мне рыдать? Я не буду рыдать напропалую». Эйссен говорит:

«Ведь вы рыдали. Господи!» — «Это было на всякий случай! а теперь дело верное, — говорю я, — у меня 39 температура, нет 390, я добьюсь своего. Мне надо попасть в точку, и с колокольным звоном. Пишите так: меня осудил весь мир, а я права, меня сжигают на костре, а я пою»...

— Пьеса без костров, современная, — говорит он вяло: — разве Крахт отказалась от роли?

— Одним словом, — кричу я, — что-нибудь вроде Христа, распятия, только Христос, несмотря ни на что, веселый, без этих стонов и без уксуса, острит на кресте и потом поет замечательно под занавес... Слушайте!

— Все это так нелитературно, простите, — говорит он.

— Слушайте, слушайте, — надо, чтобы люди не знали назавтра, в каком мире они гостили вчерашний вечер.

— Это я напишу в другой раз, — сказал он.

— Другого раза не будет.

— Это в другой раз, — повторил он, нетерпеливо краснея, и я покраснела от гнева до слез.

И сказала:

— У нас в театре актер повесился. Слыхали?

Он отвернулся и стал смотреть на белый подоконник, а я говорила: — «Другого раза не будет; я собираю в себе последнюю дерзость, я сдираю с себя всякую скорлупу. Пишите так, как будто

в последний раз в жизни, и так я буду играть. Как перед смертью. Ничего не оставить про запас. А потом»...

У него скосились глаза, он смотрел на подоконник так, как будто там проползло что-то чудовищное. Брови съежились, все сощурилось вокруг глаз, выражавших зловещее любопытство; он взял перо и продолжал смотреть на подоконник, точно на белом его поле нечто происходило невыносимо притягательное. Потом что-то записал, а глаза смотрели внутрь: зрелище перенеслось в его мозг. Через минуту он почесал лысеющее темя, посмотрел на свою ладонь и сказал: — «Ну, хорошо».

Когда же я схватила его за руки, благодаря, он внезапно рассвирепел, раскричался, и я улизнула как виноватая счастливая ящерица.

Все, к счастью, было в этот вечер, — счастлив был дом деревянный, в котором он жил, счастливою была моя дорога, и огромной золотая вода позади черных деревьев.

Тем временем по шахматному полю я двигаю две маленькие пешки, такие две крошки, что им бы и в игре не место, а будущее их — ладья и ферзь; они мне — чистые друзья и люди высшего сверх-разряда—это mademoiselle и Лизин мальчик.

Везу их в цирк, они друг на друга квакают и наслаждаются. Я купила глянцевитое и розовое

как солнце яблоко, — ребенок испугался его красоты и не захотел его есть; он трогал меня за рукав и спрашивал: — «Это — я в гостях?» и в цирке сказал про толстую белую великолепную лошадь, кудряво бежавшую вдоль круга: — «Это что — это лошадиный ангел?» Он засмеялся от страха и храбрости при виде тигров и долго говорил громко: — «Милый тиг! ты милый, милый тиг!».

Я была очень счастлива и сделалась доброй дня на полтора. Сверх того кое о чем мы с француженкой моей договорились.

* * *

Я перехожу к страницам, написанным позднее, не менее циничным, но менее яростным и носящим отчасти характер летописный.

— В те дни даже великие люди лгали подобно львам, недавно пойманным в пустыне, которых укротитель индус учил молиться по-немецки. Помню, как огромные пасти, желтые с сединой, гремя воем возмущения, молитвенно и разъяренно поднимались к потолку цирка и круглые когтистые черные ладони зверей соединялись в благочестивую и страшную позу.

Таков был наш знаменитый изгнанник. Он возвратился мудрым, прокричавшим свой го-

лос — он мог уже только шептать, — седым дряхлым тигром; и, представьте, он тихо полюбил современность, безнадежно, старчески. И многие тогда тихо ее полюбили, обольщенные слабостью своих сердец, изнеможенных тысячью лишений. Еще можно было отказаться от династических бриллиантовых великолепий, от низвержений и воздвиганий, столь необходимых в драматургии, но потерять любимого родственника, лучшего из собеседников, красивейшую из нужных вещей, господа бога!

Дайте же нам чем-нибудь восхищаться. Вожди? Но у них такая приватная наружность. Комсомол? Простите. Через тысячу лет, когда он станет легендой. Не раньше. Эти дебютанты требуют слишком большого кредита.

И вот возвышенные души кидаются от одного предмета к другому, ища что бы их восхитило, чтобы создать, например, спектакль с хорошим, честным апофеозом. Без апофеозов искусство не цветет. И вот они мчатся, ловя превратные идеи, а за ними старательным галопом летят дозорные и рвут им пятки.

Как перепутались голоса на нашей голубятне! Все стали дроздами и попугаями. Где птичья гордость! Мы прыгаем на привязи и повторяем заученные вокабулы, прыгаем как игрушечные пуделя, надуваемые резиновым клистирчиком.

Между тем таланты не иссякают, между тем население требует зрелищ, дозволенных, но с перцем и пламенем; крайности необходимы; спрос на абсурды невероятный.

И вот один из старых режиссеров, Елизарий Пират, берет на себя истребление человеческого театра. Во всех переулках Москвы возникают «дома зрелищ» под флагом старого Пирата. На сцене этих театров играют куклы, животные, предметы обихода, достигнута предельная материальность. Освещение разрешается только дневное и полуденное, ибо раннее утро, туман и вечер кажутся подозрительными. Синий свет изгнан; под подозрение взяты звезды, луна, облака; природа допускается только съедобная или строительная.

Со всех сторон были неоднократные попытки обуздать безумца, ибо движущийся паноптикум его спектаклей производил бесовское впечатление. Наконец он получает предписание ввести на сцену человека, как неизбежный элемент социальных систем. Тогда он собирает кучу людей, никогда не игравших, но имеющих подобно ему профиля хищных рыб, и, обучив их своему делу, заставляет двигаться и произносить тексты пьес с расстановкой слов справа налево, или слева направо, но в последнем случае знаки препинания исполняются наоборот. Многие остались до-

вольны. Благость намерений казалась несомненна. Я утверждаю, что так оно и было в действительности. Кое-кто подозревал его в неумеренном честолюбии, другие — в чрезмерной насмешливости, третьи предсказывали ему преждевременное слабоумие. Между тем он был только поэтом, и он обманул всех, ибо женился и решил временно отдохнуть. Центральный театр переделали в мюзик-холл с пением, танцами и гирляндами незабудок. К этому времени публика повеселела; продолжительность браков увеличилась вчетверо; все стали ценить правильность пищеварения и взаимность удовольствий. Но замечательный человек еще раз обманул людей, и одну из генеральных в его театре я описываю ниже.

Таковы были великие поэты того времени, я уже не говорю о Новом театре, где ко всему относились торжественно и даже о наших актрисах говорили: они хотят быть grandes courtisanes, это один из великих путей к углублению человечности. Подумайте! А наши актрисы попроще говорили: — «Вы это слышали? Я сдохла», т. е. от смеха, и продолжали напевать: — «Я целуюсь с кем попало» — и тогда маленькая уборщица с миловидностью тысячелетнего младенца произносила: — «Новость, подумаешь!».

Настал день чтения новой пьесы.

На этих чтениях актеры супили брови, актрисы дрожали ресницами и все смотрели на директора, — который «знал». К третьему акту обреченной пьесы он опускал правую бровь и навстречу ей ползла кривая улыбка; тогда актеры произносили тихо басовитое «нда-с», и актрисы иронически сжимали рты и облегченно пудрились; административное лицо начинало тихий разговор по телефону. Кое-кто выходил, недослушав, а автор с холодным от страха животом, заикаясь, сосал свой чай, как губку с уксусом распинаемый. Чтение кончалось. Актрисы стадом выбегали вон и, пожимаясь, произносили хоровое: «ужас!». Был другой хоровой номер: «чудно!».

Мой автор, проводивший жизнь на вольном воздухе, в актрисах ничего не понимал. Он приносил бесстрашие слепца в наш раскаленный страстными опасениями, продажный воздух. Он не видел лжи своими огромными чужими глазами. Талантливая сущность прокаженных актерских душ почуяла величие; прекрасное желание восхищаться пробудилось в бедных сердцах. Позорные битвы! Наши позорные битвы во имя прекрасного!

Но Крахт села в угол с ненакрашенным ртом и приняла чахоточную позу; глаза ее умирали от горя.

Директор был бледен; он любил свою семью, и семья его погибала в углу, в плохом кресле с ненакрашенным ртом и в чахоточной позе. Что была я со всем озорством моим, веселым зверством и революционным сложением! Ради очередной женщины он не погубит семью, умирающие глаза которой не хотят его видеть.

Женская роль была с пением и большого роста.

Директор вздохнул нетерпеливо, дешевая наша братия насторожилась, судьба моя и пьесы шатнула неустойчивый стержень; неделю на моей руке возле большого пальца не проходил след зубов, зубами я впилась в свою руку и ждала, затихнув.

Предусмотрено. Предупреждено.

Дверь шевельнулась, белый лепесток бумаги падает из дверной щели.

Это моя воля шевельнула белую твердыню двери, белый лепесток моей воли из дверной щели слетает на ковер.

Листок прошептал в услужливых руках и замер в судорожных пальцах Лизаветы Крахт.

Она резко встала.

«Ребенок нездоров. Нет, ничего такого. Знаешь, я все-таки поеду!» — Ее нет.

Теперь смотри на меня, смотри из-под руки, закрывшей бровь. Смотри. Все наши бабы следят.

Каждая расскажет другой: — «Он так смотрел, я сгорела». Хорошо, смотри. Он уже не слушает пьесы, глаза оранжевые, и ему хочется прекратить чтение и сказать: будет так, как угодно этой даме. Можете не беспокоиться — остальные. Будет так, как эта дама пожелает. У него скандальное лицо.

Завтра бабы скажут друг другу: — «Милая, поздравляю, у нас публичный дом». Я получу эту роль, и они еще раз скажут: — «Милая, она всегда была проституткой». И это самое сказала бы и я на их месте — и бабы ответили бы мне: — «Какому дьяволу угоден твой неподкупный бюстгальтер?»

* * *

Пьеса принята. Я играю уличную певицу. Это лучшая мечта всякой актрисы!

«Ну, Катюша, — сказал рыжий Сатана, обнимая меня, — вот это да! Получила. Давно вы мечтали сыграть уличную девку».

«А какой для тебя предатель написан, — ответила я: — ликуй, не я одна получу по заслугам».

— «Да, да, — сказал он меланхолически, — но если я предатель, то ведь вполне бесплатный».

Газета в углу шевельнулась и, скрыв пухлое ухо, издала утробный смех.

Навстречу мне кинулся червеобразный товарищ, стоявший у теплой отдушины, и схватил меня за руки.

— Что, нагрел руки? — спросил Сатана, и тот, зеленея, с коротким смешком поперхнулся своим комплиментом.

* * *

Я помчалась в дом Лизаветы.

В дом Лизаветы, в дом Лизаветы! Счастливый домик. В одной комнате мигрень, в другой больной ребенок. Этот больной ангел спас мою роль, спас мою жизнь; я и милая, святая, преступная mademoiselle — мы выдумали этого больного ребенка.

«M-lle, мы преступны!» — кричу я сумасшедшим шопотом и обнимаю ее, хохоча. Она молчит с сверкающим взглядом падшего херувима. Ребенок лежит в постели, послушно выпростав ручонки поверх одеяла, и говорит: — «Я больная». — «Ты больной», — поправляет m-lle строгим шопотом и, закрыв лицо руками, рыдает. Мальчик квакает, кричит: — «Не смей!» — со стоном лезет из-под одеяла; мы обе кидаемся к постели и плачем втроем, обнявшись.

«Мы его не будем сглазить», — говорит француженка, лаская его ручки, а мальчик трогает

пальцами наши глаза и вытирает их своим одеялом. Потом мы начинаем с ним бодаться, и он требует, чтобы я надувала щеки, и хлопает меня по щекам и говорит: — «Лопай, пожалуйста».

Лизавета Крахт появляется в своей двери: «Виктору лучше?» Мальчик пробует повиснуть, обняв меня и француженку за шеи; он говорит: — «Петь». Его сажают на постель, и розовый и серьезный под звяканье детских цимбалов он говорит нараспев: — «Умер бедняга в больнице военной. Все». Потом смеется и тянется к матери на руки. Она садится к нему на постель и спрашивает меня о пьесе.

* * *

Очевидно, произошло событие, похожее на обряд венчания. Нас соединили. Товарищи, курьеры, сторожа, кассирши, одевальщицы, буфетная прислуга проявили ко мне внезапную осторожную нежность, как к тяжело больному, достойному печали и глубокого внимания. Вокруг меня теплело, горячело.

Репетиции были ранние, их вел сам директор. Я приходила утром, вымывшись вся холодной водой, бледная, брала урок пения в фойэ и шла в репетиционную. Лицо мое стало честным, простым, как у беременной. В эти дни я была достойна луч-

шего, чем любовь Лабзина, среднего режиссера, захудалого директора из поповичей. Для него это были тоже большие дни. Кончилась молочная пища благополучия, прошло время счастья, наступили ужас и жизнь.

«Кать, — сказала бегемот, — устрой мне прачкину роль в новой пьесе, — ничего! небось не опупеешь, попроси директора», — и, загнув носки внутрь, прошлась вокруг меня в прискочку.

— «Проси сама», — сказала я мирно.

«Ты бе, ты ге, ты же», — ответила она столь же мирно и, отбрасывая назад пятками, поскребла ногами паркет, как делает нагадившая кошка, зарывая свой след. Этим она выразила формально свое ко мне презрение, потом села рядом со мной на диване, и мы говорили о жизни; она была добра, великодушна, прекрасная актриса. Я больше стала любить людей в это время.

На одну из моих репетиций пришел иностранец, развихленный, гривастый и очень меня похвалил по-английски. На другой день все бегали по знакомым, прося перевести похвальное слово. Был слух, что он сказал: «грандиозно» или «великолепно»; враги мои утверждали, что это средняя похвала, но Крахт помертвела от горя и заболела краснухой.

Маленькая, бритая актриса, влюбившись в мой фавор, страдая за Крахт, мечтала за меня и мсти-

ла мне за счастье; она шептала с переливами в горле: — «Ей готовят провал, он сказал: мировая актриса, от нее утаили, чтобы ее ограбить, ей готовят провал».

* * *

Раз утром, в понедельник, лежу в постели, заплаканная и тихая, начитавшись досыта ролью, — звонок. Голос m-lle тонкий.

Входит ребенок, дверь закрывается.

«Это ковер, — говорит он, — а это что — пища? — и показывает на неубранный стол; потом берется рукой за край стола и шаркает ножкой и говорит: — бужуй, мадам, это кто?» — и смотрит на портрет Гюго.

«Поди сюда, поди сюда», — говорю я с жадностью, и он подходит. «Шаркнул ножкой?» — крикнула m-lle и вошла. «Как тебя зовут?» — говорю я, держа его за плечи и пытаясь поцеловать.

«Виткий Митич», — говорит он вежливо и нетерпеливо и оглядывается на m-lle. Она шепчет: — «Нас не надо целовать, лучше посмотри тете в глаза». — «Посмотри пожалуйста», — говорю я, растерянная и счастливая — и ребенок прислоняется лбом к моему лбу с закрытыми глазами. Маленькое лицо касается меня — это восхитительная тоска. — «Ты разве так видишь?» — говорю я.

— «Он так смотрит: спросите его, как он молился сегодня», — шепчет m-lle.

«Басавен под чиева таево», — говорит мальчик, и m-lle хохочет, прячась в угол, покраснев и горя глазами. «Это — плод чрева твоего с вашего с позволения», — говорит она, счастливо собирая сборочкой свой замученный рот.

Затем мы начинаем горячо обсуждать происшествия. Не раскаялась ли она, приняв участие во мне?

— А! нет! — восклицает маленькая женщина с жестами Паллады: — я не свойлочь и не дрянь большая, я не вытараскиваю... не вытащиваю сор из избы. Но за что у нее — все! Разве я не правду говорю? Я имею дерзость желать исправить маленькие гадости доброго бога — les petites saletés du bon Dieu. Ведь это с ума сойти — иметь вот эту мордочку и еще то и еще пятое-десятое. Я справедливость, а не свойлочь какая. А вы берите, берите роль и всех — к кузькиной матери».

* * *

Однажды директор заныл от невозможной тоски и сказал тонким голосом: — «Лапшоничка, тюрька, карасик!» — Это мне. Такие вещи были непредвидены. Он впал в трагический идиотизм. В другой раз он произнес: — «Ах ты, мой чигал-

дуй, кубастик», — у него сделались глаза голубыми и новая седина в желтых волосах.

Вообще такого уговора не было.

А в театре Дюма-фис мне сказала: — «Благодаря тебе Лабзин стал мужчиной. Господа, не шутите: мужчин нет. Что мы имеем? Мальчиков — или обабевших от делового кавардака спецов и обывателей. Налоги, жилищное уплотнение, страх доноса — представьте — у меня свидание — и в результате вздор, потому что страх, мысли о фининспекторе — и я говорю: мой милый, фининспектор есть у всех, между тем дети родятся на каждом шагу у всех кондукторов и стрелочников. Нет, довольно с меня интеллигенции». И стали говорить: — «Дюма-фис полевела».

* * *

Я репетировала большой монолог. Голос летал, как сумасшедшая от радости птица. Спускаюсь в зал, сияю. Крахт сидит в третьем ряду, без лица, сморщенные кулачки в зелени платка, как еловые шишечки осенью. Умирает! — сказала я себе: как это великодушно умирать от злости и горя, потому что я счастлива в кои-то веки. Сажусь рядом. Она говорит озабоченно: очень хорошо играешь! — А что нехорошо? — «Пьеса. Пьеса на провал», — она вздыхает. Она умирала,

и теперь ей надо убить меня. Это легко. Это так легко.

— «Бог не выдаст — газетчик не съест», — говорю я, смеясь номером шестнадцатым. — «Чудно играешь», — повторяет она с унынием. И я говорю: — «Не рыдай так безумно над ним, хорошо умереть молодым», — и, встав и смеясь, ухожу с окровавленными сердцем.

* * *

Маленькая бритая догнала меня на улице.

— «Ты о чем говорила с Лизой Крахт?»

— «Что это вас разбирает, нос красный?»

Я толкаю ее плечом.

— «Знаешь, если ты провалишься страшно, ты заслужила». Я крещусь в кармане и говорю: — «Только последняя сволочь может желать несчастия товарищу».

— «А мужа отнимать у хорошей актрисы это честно?»

— «Ты когда родилась и где? Вчерашний день на луне? — говорю я. — Отнимать мужа — благородный спорт. Это квалифицирует женщину. А муж директор — слишком большой капитал. Об этом почитай Карла Маркса». Мы шли, мерно качая плечами в меховых гривах. — «Ты сколько дала за шубу?» — говорю я. Она отвечает: — «Семь-

десят», — и, став у водосточного жолоба, с плачем говорит: — «Она обожает ребенка». Я бросила окурок в лужу и сунула руки в карманы: — «А у меня нет ребенка, нет мужа, нет никакой и не будет защиты». Она хнычет: — «Ты с нами ни с кем не разговариваешь». — «Я с вами говорю по-китайски, — рычу я: — я с вами искривлялась на все лады: с просвирней говорю по-просвирному, с кухаркой по-кухарочьи, с тобой, дурой, говорю на дурьем языке. Очень весело. Не доводи меня до слез, мне тушь глаза разъедает».

Она попала в лужу лаковым носком и, рассердясь, шепнула:

«Дузе, подумаешь!»

«Не вякай», — сказала я, смеясь.

«Крахт не хуже тебя актриса».

«Мне надо высказаться, поняла?» — сказала я.

«Ты играла хорошую роль: мадам Сан-Жен».

«Ты понял что-нибудь, нос?»

«Главное — всех затмить».

«Прощай, прощай, идиот», — говорю, и вдруг этот бритый дурачок бормочет:

«Она тебя провалит, — и трясется, повторяя: — Провалит, провалит, я знаю».

«Не может!»

— «Может. Я знаю как».

Молчание. Я всхожу на ступеньки подъезда, бритая стоит внизу и трясется. Я ей говорю, по-

молчав: — Пусть попробует. Скоро генеральные. И если со мной будет несчастье, я от всей ее жизни нитки живой не оставлю. Потому что тогда она убийца. Запомни».

* * *

На генеральной театра имени Елизария Пирата. Толпа перед закрытыми вратами в царство великих невозможностей.

Я схожу с ума: страшный суд. Через десять дней предстану. Еще сегодня не я. В черной толпе шеренги инородцев, парча тюбетеек и мрачность малиновых скул образуют цветные созвездия среди маловолосых и бледных голов. Театр «Наши ребята» представлен полуротой раздрызганной молодежи, — руки в карманах, твердый строй убежденно торчащих локтей. Театральные чины проплывают среди разноперой человеческой смеси, настроенной иронически и вызывающе. Все раздражены, состояние безнравственное, всем хочется грубости и драки до крови.

Вся эта толпа ныне от часа до 4-х пополудни здесь возводится на престол высшего судии, дабы изречь приговор творящему. Воображаю, что сказал бы сам бывший господь-бог, давая спектакль своего мироздания этому сонмищу ненаказуемых узурпаторов. «Плохо», — сказали бы они, и он бы ответил: — «По неопытности. За недо-

статком времени», — и приподнял бы свой старый цилиндр усталым жестом существа, видавшего виды.

Несколько золотых человеческих звезд тихо и честно сияли в сумраке погасавшего зала.

Москва золотит кровь сердец: есть люди.

Занавес. Первое: на троссах под красной падугой актеры висели на стульях. У одного выпало стремя, и он болтал в воздухе правой ногой, теряя равновесие. Зал завопил. Дали занавес.

Шорох, смех, чудовище зашевелилось, издавая подобие веселой икоты: «Повесили актеров до спектакля». «Виси за те же деньги». Хохот.

На просцениум выходит кособокий человек и в полутьме со стоном произносит нечто неслышное. Из ложи звучит холодный возглас Елизария Пирата: — «Свет в зал!» — «Митя же!» — говорит кособокий, содрогаясь, его осветили. Я присутствую при казни: у кособокого лицо смерти; он потер руки, завернувшись спиралью: «Вследствие». — «Ясно, что вследствие», — отвечают из зала. Я леденею. «Вследствие технической неисправности первая часть интермедии отменяется».

Гром аплодисментов.

Резко, рывком, гремя музыкальной рулеткой, развернулся занавес и ударил в порталы, порталы грянули медно. Зал охнул, холодея. «Му-

зыкальный занавес» — захлебнулся кто-то; ниспал ряд звучащих колонн и ударил в металл половиц. И среди звона и сияния двое красно-черных гигантов скрестили мечи, и мечи запели!

Поднялся треск аплодисментов.

Я тряслась, теряя рассудок.

* * *

Вчера Лабзин не был на репетиции; тут-то все и собрались. Зал превратился в холодную яму; ледяные черти, враги мои, сидели там среди пустых рядов, в засаде. Шел наглый говор вполголоса; я старалась угодить им, играя; о, боже! Осипла.

Сидя рядом с Лизаветой Крахт, Щека фальцетом подтянул ноту, которой мне нехватило; Крахт смешливо на него прикрикнула, и я засмеялась растерянно, в надежде снискать расположение моих палачей. Этот мой смех я вам припомню. — «Ничего, ничего, ты старайся» — произнес Рыжий змей из директорской ложи...

— Я знаю одно, если позволить себе злость, или слезы, — все рухнет во мне и не встанет.

Еще на четверо суток терпения и пытки. Ни полминуты больше! Лишней минуты не вынесу.

Крахт засмеялась громко, и я, остановив спокойно скрипача, сказала: — Лиза, мы тебе не мешаем?

— Прости ради бога, — сказала она холодно, и торопливо и весело вышла из зала, а подлая Щека иронически кашлянул в кулак.

* * *

Еще сутки следила я за тем, чтобы ровно дышать, а руки уже не согревались. И вот однажды, проснувшись ночью, я забилась в рыданиях, в судорогах и обмякла. Плакала долго, жалобно и как чужой слушала свой плач; встала босыми ногами на ковер в равнодушии совершенном к жалкому своему телу, заледенелому и разбитому изнутри; сказала громко: не можете, так не беритесь. Кончено. Не сыграю. Чего ради все было? Умереть!

* * *

Ты будешь первой,
Не сядь на мель!
Чем крепче нервы,
Тем ближе цель.

Мой старик вопил мне в ухо и топал, точно хотел в честь меня раздавить всю землю, мы хохотали, как в лихорадке, визжа напились, — это было в день моей черновой генеральной, за кулисами.

Нагрянуло счастье. В зале была всего лишь небольшая горсть людей; из «Наших ребят» и

школы. Орали. Несколько человек постарше ушли расстроенные на-смерть.

Богомолов, кланяясь мне, приложил руку к сердцу. — «Есть актриса! Видал актрису!» — кричал ему в ухо мой дорогой Башмаков.

Бегемот, обрушив на меня свой бушующий бюст, била меня и бранилась в счастливой ярости. Прочие ежились и говорили с насильственной звонкостью. Бритый воробушек крестился и плакал в углу от страха.

Червеобразный человек крутился, образуя восьмерки, бросаясь от меня к Лизе Крахт и обратно. Он нюхал воздух, глаза его были как две летящие пули.

«Коньячку, коньячку, — говорила Крахт и дрожала вся-вся, от затылка до колен: чаю! очень горячего. И я дрожала. Давно уже я дрожала, не переставая. Она надела на меня шубу и заставляла меня пить кипяток с коньяком. Меня пожирала боль, сердце ломило от ее горя, от своего страха и от своего счастья и от ее горестной горячки. «Чем крепче нервы! — кричала я, глотая слезы, глотая кипяток, и говорила: — ну ладно!—Что завтра! Что завтра! — и повторяя:— что завтра! что завтра, господи!» — и выйдя на улицу, споткнулась и разрыдалась. Крахт распахнула мне шубу и кричала:—«У нее припадок!»—

и вытерла мне снегом лицо и насовала мне снега за ворот. — «Горло! Горло! Оставь горло!» — повторяла я, хрипя и царапаясь.

«Вот! — сказала она стеклянным от ужаса голоском: — так ей лучше» — и согнулась и побежала.

Я приходила в себя, откашливаясь. Я лежала в мягкой темной яме автомобильной кареты, у меня болело зажатое плечо. Я пробую освободиться, говорю: — «Это ты, что ли! Обнимаешься!» — голос у меня вороний; он всхлипнул и стал целовать мой воротник. — «Ты простудилась, Катечка!» — «Ничего подобного», — сказала я басом, чувствуя жар в пересохших губах. — «Генеральную отменим», — сказал он с детской тоской. — «Ты хочешь, чтобы я умерла! Лишнего часа не вынесу, — говорила я ужасным новым голосом, — я не лошадь».

— «А если ты заболела? — шепчет он, — девочка!»

«И не подумаю, — продолжает дикий мой голос с грубым спокойствием, — полоскать и все».

И я заплакала вдруг, съежив подбородок и опустив рот, и стала причитать хриплым слезливым фальцетом: — Господи, кто это меня проклял! Уж неужто еще не выстрадано? гроша, гроша не хотят мне подать!

— «Кто? Катя!»

— «Жизнь, все во мне исколесовано».

— «Не плачь, не плачь! — он завозился в отчаяньи. — Я сейчас с ума сойду».

Сморкаясь и пошатываясь, он расплачивался с заинтригованным шофером, а я стояла прислонившись спиной к стене дома и смотрела с исступленным прощаньем на родную московскую луну.

Как только тронулся такси, мой любовник повалился коленами на тротуар и обнял мою шубу.

«Поезжай к себе, она там наверное травится!» — сказала я тяжело и протяжно.

Тут еще он поговорил о горчичниках, ингаляции, о своей безумной любви и тому подобном. И я ушла к себе.

Сколько бессонниц в этой лунной Москве. Сколько сердец разламывается в этом кипящем московском одиночестве. Тихо. Ветви в палисаднике черны и качаются с кроткой осторожностью. Москва. Ночь. Год тысяча девятьсот двадцать четвертый.

* * *

Температура 38. Грею воду. К вечеру голос будет необычайным и пленительный жар в мыслях. Так лучше. Разве я великая актриса? Я? Все мы кривляемся, обманщики. Потому что несчастны. Только счастливые могут. Так лучше. Буду бредить на сцене, будет преображение.

Вечером вспомнила: Христос, которого распинают, а он веселый.

Разве может тот, кто не любит, тот, кто никогда не затихал от счастья, кто никогда не был добрым, кто никогда не верил, кто не любил ребенка, кто не молчал, строго слушая душу свою и чужую, разве может тот, взойдя на эти подмостки публичных казней, сохранить в себе пламя, терзаемое бурей, разжечь его в столб разящий и победить?

* * *

«Больна! скажи со сцены, что я больна, — кричала я, толкая директора к двери, — я не играю, это не игра! Я не могу петь, скажи, что не могу!» — «Безумная! ты нравишься! испортим впечатление, ты нравишься!»—кричала Крахт. Директор вышел. Все равно. — «Я знаю, чего вы хотите, — хрипела я, — позора». И тут-то во мне и обломилось и рухнуло.

Я вышла на сцену, забыв как играют, я припадала на ногу, дрожала мелкой дрожью, растерянно улыбаясь рампе. Одну минуту мне показалось, что это очень хорошо. Я говорила домашним, больным голосом. Прокричала пронзительно монолог, сказала: ах да, забывши реплику, и поправила прическу, как в жизни.

Кто-то молча отвез меня домой.

Я видела в цирке: гимнаст повернулся спиной и вдруг обе его лопатки отделились от середины спины и, натянув невозможно кожу, поднялись, как два угловатых крыла, два горба. Так мне отодрали сердце от корня и, растянув невозможно, били в него, как в набат.

* * *

Безумная, через день я была в театре: приехала играть старую роль. Ничего особенного. Пьесу сняли. Я ведь хочу только сыграть старую роль. Я разучилась.—«Громче!»—«Разве я тихо?» Слышу со сцены: за кулисой в щель рыжий Сатана голосом младенца произносит:—«Мама, о чем тетя спросила? Мама, эта тетя играть не может? Мама, пусть лучше эта тетя не играет».

Дома беспрерывно бормочу, напевая:

Среди долины Умбри — я
Вдали от здешних стен
Цветет цветочек Скумбри — я
И птичка стре — пантен...

Пакет, рецензия, статья, подчеркнуты строчки. Намекают на нетрезвое мое состояние на генеральной. Статья, ну все равно, обо мне о том же. И записка от бывшего друга: это только начало

травли. Вам предстоит быть приманкой «в испытании охотничьих собак на злобность и резвость». Покиньте эту недостойную вас среду.

* * *

Из театра меня выгонят не иначе как с милицией.

В моей комнате директор. Мне кажется, я сплю, просыпаюсь, слышу: «поместить опровержение в газетах». Тут я смотрю на него пристально и вижу Елизаветино клеймо на его лице. Я бью его по лицу и говорю: — «Вот опровержение!» Отвратительный вопль, и я теряю сознание.

* * *

Болезнь. Сны.

Это была ночь. Театральная площадь. Большой театр огромным кораблем плывет, впереди сторожевые колонны. Театральная площадь, но виден весь Кузнецкий мост, ибо он стал горой и вершиной упирается в созвездие Ориона. Двойные белые звезды автомобилей скатываются плавно сверху вниз. Сугробы снега лежат подобно темно-лазоревым городам, и Москва кажется снеговой вершиной земного мира. Фырканье горячей лошади неслось из переулка, а в рядах, что на Красной площади под стеклянной крышей, разлива-

лись крики петухов. Крепко толкаясь, шла и не проходила толпа на Никольской. Никольская была вся на виду, в воздухе играл медный оркестр, а на площади высилось лавиною перед Большим театром полчище актеров, и в темном воздухе фонари Неглинного проезда бросали косвенный свет на их серьезность. Белым огнем мороза, зелеными ледяными молниями одеты углы театральных зданий.

— Русские актеры! — сказала я тихо, и улыбка и слезы гордости заставили меня вдохнуть зимний ночной воздух Москвы.

— Русские актеры! — вскричала я во сне, — и цирковой дурак в красном атласе с золотом на животе и другой, маленький в юбке и котелке, стонущим фальцетом повторили: «Сто вы? Не мозет быть!»

* * *

Я украду у нее ребенка. Пусть сойдет с ума. Я ничего не могу.

Я ухожу из театра. Отпуск по болезни. Я ухожу навсегда.

* * *

Питайтесь отравой своей желчи. Грызите мое имя, оно остается вам на растерзание.

Вы споткнетесь в дверях моей уборной, когда увидите в зеркале лицо актрисы в моем парике с подобием моего лица.

Мои подошвы горячели на этих досках.

Тот, кто повесился — он не ушел отсюда. Я ухожу.

Вы вдунули в меня смерть вашим дыханием убийц.

Если ваших детей, обожаемых и необыкновенных, задушат у вас на глазах — вы поймете меня, но не раньше.

Смотрите сбоку в лучи фонарей на сцене: вы узнаете мою скрываемую дрожь. Театр! распятие мое, смерть моя!

* * *

Небольшого роста седой человек с тяжелыми веками мудреца и широкой челюстью властелина. Он проходит замедленным шагом по театру сверху донизу, обходит кругом коридоры всех ярусов, медленно и зевает безнадежным седым зевком тигра. Он волочит свою умершую от боли страсть к театру, который создан им единолично, и он ни с кем не хочет встречаться.

Мы встретились с ним на лестнице. Я сходила вниз по лестнице. Вон из театра.

Он кивнул мне, и я ушла.

— Это было в т е а т р е. В каком слове есть еще эта еа—еа: ураганная легкость этих еа — она сделала меня безумной, и топот этих двух т — театр — они мне вытоптали сердце. Тело этих двух т тяжело — это тело толпы. Страх, смотр, смерть, вот финальный звук слова т е а т р, жестокого, нечеловеческого слова.

* * *

«Душка моя, и не плачь. Отродясь не был актер человеком. И не рыдай. Актер обязательно сволочь, и негде ему взять другого. Прокляни — это правильно, это можно. Но не кричи. Убийцы? Все верно. А где ж еще быть убийцам? — Ведь мы здесь все цари, все о царствах спорим. Ну и ладно. Ну и ясно. Ну и вот».

И старик мой помахал мне зонтиком и пошел с вокзала на спектакль.

Стеклянный пестрый свет на пальмовых крыльях. Утром солнце пахнет вчерашней бурей. Косматые тела невероятных деревьев, добрых и диких существ.

У драценовой пальмы мочальная борода допотопного человека.

Черные буйволы идут в море — жадно вытянув к воде плоские древние головы.

Дождь падает на пальмы, воздух пахнет добротою и пальмовым телом.

А ночью шакалы завопили голосами безумных женщин, потерявших душу, как я.

А цикады развели такой благовест над всем миром, точно райские птицы, изгнанные из рая и все еще сумасшедшие от райских воспоминаний.

Вечером к постели, к белой моей могиле подхожу. Она замучена мной, заплакана мной, избита. Могила моя, земля моя смертная будет стонать вокруг меня. Где мой театр!

Эйссен приехал и пошел меня искать. Ночь была, белые залпы боковых волн пролетали вдоль берега. Я плыла и услышала голос.

Я уходила черной водою вперед, белый огонь дрожал в черной воде, снова белый залп пролетел у берега, заглушил зов; небо глядело на меня сиянием и темным и откровенным, темный покой был впереди и вверху, и только вокруг моих рук тонуло и всплывало серебро и ледяной бриллиантовый брызг, я плыла как белый костер в темноту.

Голос слышу, голос, зов, от которого я заплакала и, плача, плыла прочь, уходя в море...

Он стал кричать мне вслед спокойным криком, и, расслышав и поняв его слова, я закричала как

перед смертью и захлебнулась волною, горем и счастьем, и выплыла вновь и повернула обратно, ударяя крепко руками.

На берегу Эйссен подробно рассказал мне все новости, и я не смеялась, но я была спокойна отныне и вовеки.

Меня приглашали с половины августа вступить в труппу Нового театра.

КАК НЕ БЫЛ КАЗНЕН ЕПИСКОП ЛАГАЛЕТТ.

1.

В 60-х годах езуитов выгнали. Франция извергла из себя заразу; влияние моего отца не могло не иметь значения в этом деле. В детстве я наслышался о езуитах. Я спросил свою няньку, что значит «езуит»? — Она сказала: «человек, который убивает глазами». И езуита с такими глазами я увидел во сне.

Когда я встретился с епископом Лагалетт, я вспомнил свою няньку и человека, которого в детстве я видел во сне.

Встреча произошла в 1783-м.

— Кто бы сказал! — В 83-м о езуитах не было и помина. Веселое беззаконие великих умов сотрясало воздушные сферы. Неистовый скрип перьев свистел разбойно, четвертуя в воздухе ветхие

заветы королевства. Правда, это была сухая гроза; она не падала на землю. Французская земля лежала в затишьи, щедро рождая пшеницу и виноград.

— Деревенские игры напоминают времена Аркадии, — сказал один из 62-х министров короля.

На фабрике гобеленов выткали весь земной мир в виде лилового блаженства.

Воздушный шар взлетел в саду Тюильри; это был великолепный ленивый пузырь; увядая он покачал головой по-королевски: недолговечное, но утешительное чудо.

В Академии наук священники и атеисты, сидя вперемешку, улыбались друг другу любезными и злыми бритыми ртами.

Езуиты гнездились под крылом Рима, — но каждая из этих ехидн ждала случая вползти в пределы Франции, тая до времени свой яд.

Одной из них я достался на съедение благодаря легкомыслию веселого кардинала де Р.

Я был сыном Жака Ларивo, воспитателя короля. В юности мне случалось играть с Людовиком в чехарду, однажды я разбил его толстый нос, — и король надолго сохранил ко мне тихую нежность.

Когда он женился, дама королевы Тереза Серафина ля Тюбертри стала моей любовницей; королеве нравилось знать наши секреты.

Сердечное беспутство того времени коснулось меня в лице Терезы, — беспутством героическим я был обязан внушениям отца и дружбе великого Кастельруа, сочинителя.

Уже в течение 6 лет я воспитывал юные умы королевского коллежа на основах великодушного свободомыслия. В 1783 году кардинал, мой высокий покровитель, был отозван с своего поста попечителя коллежа, и место его заступил епископ Лагалетт.

Епископ — тайный езуит, — кардиналу это известно. Кардинал, поймав меня за рукав, шепнул мне на ухо:

— Я посажу вам за ворот этого скорпиона, — вы попляшете, мой мальчик.

— Зачем?

— Маленькая уступка Риму в обмен за любезность. Мой сын немного итальянец, и папа дает ему епископат.

— Сын, ваша святость?!

— Мой первенец. Я добрый отец — поэтому, нечестивец Лариво, я сажаю вам езуита на шею. Тсс — ни слова!

Этот веселый человек вовлекал меня в заговор езуитов.

— Вы заражаете меня проказой, кардинал! — сказал я, краснея.

— Кш! Кш! Кш! — республиканец, разбойник! — ответил кардинал и щелкнул меня по носу.

И он начал с того, что стравил меня с езуитом. — Он позвал к себе нас обоих. Смерив крошечного Лагалетта взором, я устойчиво расставил ноги и, взмахнув шляпой, произнес республиканскую тираду. Езуит поник с видом умирающего вурдалака. Кардинал тряс животом, наслаждаясь.

— В Бастилию, молодой человек, — шептал езуит, шурша картавым голоском, и кардинал смешливо квакнул.

Тут к ужасу присутствующих я восклицаю:

— Отцу не удалось сделать короля республиканцем, — я сделаю республиканцами его подданных.

Кардинал в восторге высовывает язык, — у Лагалетта — лицо недоноска, — оно синеет.

— Вас следует немедленно ви-бре-сить на мес-те-вую, — бормочет он как бы предсмертно.

— Не умирайте, епископ! — кричит кардинал, — мадам ля Тюбертри, друг королевы, близка мосье Лариво. (Лариво это я.) О мостовой не может быть и речи.

И вот Лагалетт воскресает: головка курносой змеи нюхает воздух, и голосок язвительно сипит:

— Тережа! Тережа-Щерафик!

Он хватает кардинала за коленку: бесстыдно закатив глаза, он произносит на языке мне неизвестном:

— Муш ля пуль?

Тут хохот опрокидывает кардинала навзничь, он стенает, клохчет, вопит:

— Безобразник! — ох! ох! ох! ну да, — муш ля пуль!

— Это что такое — муш ля пуль? — говорю я сердито и грубо.

Кардинал объясняет: Лагалетт для вещей неприличных изобрел особый язык.

— «Муш ля пуль» — это значит, — в горле кардинала бурлит смех, — это то, что вы и Тереза.

Я вырываюсь из рук кардинала и нахлобучиваю шляпу.

— Ваше мерзкое косноязычие, епископ, — говорю я, — оскорбительно для женщины, которая...

— Простите, она моя племянница, — говорит епископ, и кардинал, стащив с меня шляпу, кладет ее себе на живот.

— Трюд-нее пе-ле-же-ние, — бормочет Лагалетт.

— Вздор. Я обожаю вас обоих, — вы друзья, — говорит кардинал. Епископ поднялся. С игривостью убийцы он шепчет: — Кардинал! не будь вы королевской крови, я истребил бы вас немедленно. — Они целуются, смеясь и повторяя: — «Мы ужасны, Лагалетт». — Вы истинно ужасны, ваша святость. — Лагалетт выходит, состроив мне глазки.

— Осторожность, дорогой Ларивo, — говорит кардинал, вздыхая: — эта блудливая вошь небезопасна.

И он надевает мне шляпу.

Я кланяюсь с пересохшим ртом.

Выйдя из кардинальского сада, я мрачно взглядываю поверх крыш и призываю миры к ответу.

На крышах, влажных после ночной бури, лежал густыми улыбками широкий блеск безответственных миров.

Тогда я вытащил косичку из воротника, положил на плечо палку и направился к племяннице епископа Лагалетт.

* * *

Тереза Серафина поднялась мне навстречу, держа перед собой ручки в позе просящей болонки. Она прислонилась ко мне грудью, шепча: «Здравствуйте, моя дорогая маленькая капуста».— Это было одно из драгоценных имен, даримых ею любовникам. Ее выпуклые лиловые глаза моргали нежно и растерянно.

Она постоянно забывала, где и с кем она находится. Раскрыв кроткий рот, она ждала атаки.

— Добрый день! — сказал я свирепо.

— Здесь незастегнуто, песик, — сказала она.

— Сударыня!!

— О! — бугорки бровей шевельнулись.

— Сударыня, епископ Лагалетт — ваш дядя?

— О! но, действительно, мой старший муж был племянником его преосвященства.

— Ваш «старший» муж — это было давно, — говорю я с отвращением. — Тереза! прогоните прочь Лагалетта.

— Но почему?

— Раздавите его! — говорю я, топая ногой. — Эта ехидна меня ужалит (слово «езуит» жжет мне печень). — Лагалетт палач и могильщик.

— Лагалетт не палач, он просто свиненок. — Тереза смешливо моргает.

Я пытаюсь дать ей понять, что значит возврат езуитов.

— Надо сказать королеве, Тереза. — Но я обнимаю эту женщину, — и она теряет последнее соображение.

— О! но поймите... — говорю я.

— Он свинья — Лагалетт, — лепечет Тереза. — Ты знаешь, — у него манера говорить гадости на непонятном языке.

— Муш ля пуль? — говорю я с ужасом.

Внезапно Тереза вскрикивает, багровеет и прижимается ко мне, бормоча:

— Ах, Лагалетт, ты не знаешь! Ах, Лагалетт!

— Что такое?!

— Но, Лагалетт! — и она падает в мои объятия.

— Я не Лагалетт, — говорю я, дрожа от негодования. — Придите в себя, сударыня. Опомнитесь, сударыня!.. — И я отрываю ее руки от своего жилета, повторяя рокочущим голосом: — Оденьтесь, безумная женщина!

— Ах! Ах! — кричит она, — я хотела сказать: Лариво.

— Вы хотели сказать: Лариво? Довольно! Довольно! — Ослепнув от бешенства, я шарю, ища свою шляпу.

— Я хотела сказать: Лариво! — стонет Тереза.

— Прощайте! — кричу я и ударяю палкой о косяк двери, палка разлетается на-двое — я ухожу с ее обломком на плече.

Я несу обломок этой палки к ногам великого Кастельруа.

Великая любовница и великий ум стоили друг друга. Они сделали то, что я стал простым, умеренным смертным, — и великая революция меня пощадила.

Великий ум в этот парижский сизый полдень, запятнанный светом и сыростью весны, — великий ум брился у открытого окна; он вытирал бритву косичкой своего парика и заунывно ревел новорожденный стих.

— Кастельруа, чем вы заняты? — спросил я желчно.

Он ответил:

— «Зачатием революции». — И смахнул обшлагом рукава струйку крови на тощей шее:

Чело, благословенное мирами, —
Колеблет небеса, вселенную, престол —
Торжественный диктуя произвол
Христа кровавой орифламме!

Проклятая говорильня!

— Слушайте, Кастельруа, — сказал я, — когда вас пошлют к чорту, вы все так же будете выть о мирах и орифламмах?

— Кто вам сказал, что я не послан к чорту? — спросил Кастельруа. — Вот мой последний клочек бумаги, взятый в долг — и на этом последнем клочке я поставлю сегодня мою миродержавную подпись.

Я дал ему денег взаймы, — он стал немного внимательнее.

— Кастельруа, езуиты проникли в Париж. Епископ Лагалетт назначен директором коллежа.

— Он вас задушит. Слыхал о Лагалетте, — сказал Кастельруа. Внезапно он взревел:

Торжественный диктуя произвол
Христа кровавой орифламме! —
В тиарах черепа... —

Вас выгоняют из коллежа, бедный друг! Нет? Добейтесь, чтобы вас выгнали. Сделайте ваше

красноречие низменным и доступным, — идите проповедывать лодочникам Сены и сброду предместий. Когда вас посадят в Бастилию, я посвящу вам поэму. — Он сел за клавикорды.

— До свиданья, — сказал я.

Кастельруа, играя, кивнул мне головой. Я вышел в бешенстве. Едва ли он заметил мое посещение.

— Жалкая болтовня, — сказал я и зашвырнул обломок палки ему на крышу.

Кастельруа думал иначе.

Он говорил о себе: — «Я не замечаю своей гениальности, потому что я гениален. Когда ничтожество говорит себе: я поэт — оно испытывает при этом теплое содрогание желудка и скотское удовольствие. Я ничего никогда не испытываю. Скажите мне, что я бог, — и ничто во мне не шевельнется ни за, ни против».

* * *

Новый директор королевского коллежа собирал вокруг себя ораву приспешников. Я говорил с моими молодыми людьми в классе в присутствии шпиона, — другой шпион подавал мне плащ при выходе в вестибюль; наконец, благочестивая Дениза, моя кухарка, ради спасения души своей и хозяйской, приняла третьего на должность судо-

мойки; семинарист из недоучек чистил мой шпинат, заправлял соуса и наполовину высасывал мои ликеры.

Между мной и Лагалеттом сложились отношения личные, страстные, скрытные. Лагалетт окружал меня своими гончими. Признаюсь, и я выслеживал его. Я глядел в его окно по вечерам и, видя его тень, испытывал сердцебиение. Не раз я заставал его молящимся в часовне. У него было несколько способов молиться: он бледнел от жесточайших чувств, обращая к отцу-создателю холодные, ревнивые, покорные глаза, — со слезами шутливой нежности припадал к стопам Марии — и дольше всего, опустив круглый рыбий рот и смежив напряженные веки, упоенно и строго молился себе самому.

Я злобно улыбался этому курносому вдохновению, этому самообожанию хилой обезьяны, детское и страшное очарование которой меня бесило и покоряло. Я называл его мысленно «убийцей и самоубийцей», я говорил с ним мысленно по утрам, проснувшись, — он наполнял мои вечерние небеса, заслонял невинные звезды, я был одержим темнотой его сутаны. В то же время я готовился к борьбе.

Я начал с того, что усыпил бдительность моих стражей: в классе я рассказывал истории малоизвестных святых, излагал вероучения еретиков,

распространялся об оттенках догмата, пламенел лояльностью и благочестием.

— Рябой шпион Лагалетта, корпевший у окна, увядал бесполезно: молодые люди взирали на меня с недоумением.

В доме моем Дениза выслушивала мое похвальное слово директору в присутствии кухонного езуита, старавшегося с благоговейной бесшумностью догрызть свою морковь; морковь трещала в его зубах. Он любил морковь, как кролик, и вечно ходил с оранжевою пастью.

* * *

Однажды школьный шпион заболевает. Вхожу в класс; меня встречает хор, воспевающий отсутствие шпиона.

— Дети,— говорю я просто.— Сегодня мы простимся. Завтра вернется мой тюремщик — и я буду лишен свободы надолго. Но сегодня на час мне разжали горло, — и я прокричу вам петушиным криком о том, что наступает утро. Я снимаю камень погребения с своей души для того, чтобы успеть вам крикнуть: я погребен живым, — сделайте так, чтобы это погребение заживо было одним из последних.

Как в сладком и трезвом бреду я произнес свой республиканский манифест твердо и достойно,

с молодой печалью о славах грядущего, которое медлит.

Класс поднялся, грохоча табуретами; хриплые клятвы прозвучали с воздеянием рук; молодые люди бледнели, стиснув зубы подобно героям, — и один из них меня предал.

Болезнь шпиона была предусмотрена Лагалеттом.

* * *

Дениза дарит Лагалетту нашего котенка.

Епископ прельстился хромым котенком, которого постоянным прибежищем были плечо, грудь и спина Денизы. Проходя общим двором, епископ останавливался и гладил обоих, — и однажды, отодрав кота от своего сердца и кофты, Дениза патетически протянула его преосвященному. Я видел из окна, что у епископа и кухарки происходит великодушный спор, в результате которого Лагалетт идет к нам в дом и, войдя в мою гостиную, просит разрешения принять дар Денизы и лишить наш дом трогательного присутствия котенка Патт-кассе.

Я кланяюсь — он кланяется, я предлагаю кресло — он садится. Происходит короткий разговор.

— Мы дарим котенка Лагалетту.

— Благодарю, дитя мое.

Я рад угодить святому человеку.

— Вы меня балуете, сударь, — говорит святой: — вы любезны, вы благородны и — ах! — красноречивы!

Я склоняюсь — он склоняется, — и вот, склонив лбы, — мы взглядываем друг на друга подобно двум козлам перед дракой — и видим скрытый смех в глазах врага. Поклон.

Лагалетт цепляется за мою руку; придерживая кота, виснет на моем локте, хромая, ползет в кухню, посылает поцелуй Денизе — и уже властно волочит меня за собою до своей двери; согнувшись, почти на четвереньках, он перелезает через камень порога и смотрит на меня из темноты белым острым глазом. Свет далекого фонаря делает раскаленным этот неподвижный взгляд. Затем он исчезает — и это все.

Ночью заглядываю к нему в окно. Котенок мешает ему молиться. Патт-кассе устраивается у него сзади под коленками и карабкается на его кланяющуюся поясницу. Серый свет лежит на полу; келья так одинока; на полу в сером свете ночи — блаженный холод апреля в саду — на полу, подняв худую поясницу, маленький епископ лежит в коленопреклоненной мольбе. Вот нежный силуэт вихрастого кота всползает зябким кошачьим движением из-под коленок вверх; рука Лагалетта тянется назад; котенок занялся рукой.

Лагалетт лежит лбом на земле, забыв молитву, и играет с котенком, торчащим на его заду.

* * *

Письмо от Терезы: на т е б я донесли. Я тебя боюсь, но *я* приеду.

Карета Тюбертри въезжает во двор, тяжело скрипя по мокрому песку. Колесо ее сплющило песчаную горку: радость дворовых детей; открылась дверца. Кто-то ждал.

Я сбежал во двор. Посреди газона подобно синерозовому павильону водрузилась Серафина Тереза, облаченная балдахинами юбок. Голова ее уподоблялась гробовой колеснице из белых кудрей и снежных перьев; она стояла на маргаритках и подавала мне записку королевы. Круглые глаза ее были испуганы.

— Королева советовала мне умерить разрушительную силу моего воздействия на юные умы. «Слушайтесь женщин»,— писала королева.

Серафина оперлась на мой локоть и подняла мокрый носок своей туфли:

— Смотри!

Как она была нестерпимо мила с своей идиотской красотой. Глаза, руки, груди и ноги ее были широко друг от друга посажены — прелестными парами, — и эта разлатость всего ее существа при-

давала беспримерную нелепость ее прелести. Она не умела ни стоять, ни ходить.

— Зачем говорить непозволительное, песик? — спросила она, беря обратно записку: — я этого не могу понять. Меня спросила королева: зачем это? Я сказала: это невозможно постигнуть. И мы решили тебе объяснить, чтобы ты перестал.

— Дочь моя! — раздалось из окна епископского дома. Епископ сидел на подоконнике.

— А! — воскликнула Серафина — и в рассеянности сделала мне реверанс.

Я поклонился. «Начинается!» — подумал я.

— Дочь моя!

Тереза заторопилась.

— Лагалетт, все равно тебя арестуют, — сказала она.

— Я не Лагалетт!

— Но, Лагалетт!!

— Я не Лагалетт!!

— Дочь моя! — пропел епископ в окне, — дочь моя! — И она растерянно заковыляла к епископской двери. Я видел, как она везла свои непрочные юбки вверх по лестнице, и видел, как епископ водрузил ее на своем монашеском подоконнике подобно огромному цветному фонарю.

— Этот молодой петушок, — сказал епископ в окне, прижав рукой декольтированное сердце

Терезы, — этот петушок покричал немного. Проститесь с ним, дочь моя.

Я стоял под окном; Лагалетт крестил уши, рот, грудь и спину Терезы, он лизнул ей нос — и она заклохтала.

— Ратапли! — сказал епископ и высунулся в окно.

— Смерть тюремщикам! — завопил я и поднял камень. — Езуит! Езуит! Смерть Иуде! Долой тиранию короны и рясы!

Из кареты Терезы выпрыгнул человек и схватил меня за руку; камень выпал из моей руки. Мадам ля Тюбертри, боясь меня, была предусмотрительна. Полицейский комиссар сидел в ее карете. Я был арестован.

2.

Мы встретились через девять лет. Революция вернула изгнанников. Я был призван на службу республики. Я жил в своем старом флигеле, уцелевшем от пожара. Обугленный пустырь коллежа зарос гусятником. Казнь королевской семьи была событием недавним.

Когда королеву везли на казнь — она в своей телеге была похожа на выцветшую гувернантку; мертвый опущенный рот оскорбленно засох. Ее чепец был жалок и страшен.

Дениза, овдовев, вернулась ко мне; ее лицо цвело шафранным багрянцем; она не пыталась осмыслить событий, но была добра.

Я был покоен и делал свое дело, я стал проще за эти годы; мне было 30 лет.

Однажды в сумерках я думал долго о завтрашних делах, о доброте, о смерти, глядел в окно.

Кто-то входит и молча кладет мне руку на плечо. Кастельруа — кто бы подумал!

— Друг мой! Я предавался возвышенному созерцанию, — говорю я и зажигаю свет.

Свинцовое лицо и желтые глаза великого человека неподвижны. Говорильня молчит.

Я долго жду. Наконец, Кастельруа разжимает гневную челюсть.

— Нельзя быть безнаказанно гениальным под властью красного колпака, — говорит он: — свидетели боги, я хотел ими восхищаться. Я вознес грязную рвань их знамен в эмпиреи и вручил их духам вселенной. Я ждал благодарных объятий. Как бы не так.

Он оглянулся, и я понял, что он ищет чего-нибудь поесть. — Я слишком кровожаден в эту минуту, чтобы иметь аппетит. Моя челюсть алкает якобинских хрящей. Кто сделал людоедом великого Кастельруа? Я, разгромивший престолы, начала и главы! Аз, сотворивый! Рево-

люция! не мной ли зачат этот ребенок? Кто был его матерью? Я не узнаю моего семени в своре белесых бездарностей, в их ярости, украшенной веснушками и рахитом. Дайте мне мужика, которого творец был бы родным дядей Пантагрюэля! — Я влюблен в его волосатый скелет. — Хитрец, бестия, ловкач — таким ждал я первенца чресл моих. Дурачье, дурачье, прочитавшее тетрадь сельского учителя. Революция и я — какой срам. Я бегу, обращая пяту к моей родине. Лариво, я не могу взять в дорожную суму любовниц и рукопись. Вся моя сущность пребудет в Париже. Вам я поручаю вот этот мешок. Это поэмы, трактаты, трагедии, памфлеты, история, эклоги...»

Он все еще не мог остановиться:

— «Эта ночь и ветви под небом — все принадлежит только нам и говорит: — Вся власть поэту — мы твои».

«Какими словами ответит тебе разъяренный лакей или посудоторговец, о ночь?»

«Брюхо и печень — вот суфлеры уличного красноречия. Кастельруа не удалось съимитировать муравьиную ярость этих червей. Конец. Ах, сволочь, собачья рвань. Лариво! Лариво! Ваша посредственность незаменима. Вы бульон из добродетелей, Лариво. Я даже почти допускаю,

что вы не тронете моих рукописей, чтобы издать их под вашим именем».

Кастельруа с глухим рычанием пожирает мой капустный суп; он оглядывается, ища салфетку, и вытирает щетинистый рот оконной занавеской, которую ночной ветер предупредительно раздул в его сторону.

— «Стихии услужливы к поэту, — говорю я, — а народ творит свой мир согласно вашим предсказаниям, мэтр».

— «Если бы не печень, я согласился бы с вами, — говорит Кастельруа, догрызая конскую кость — ибо и конина стала редкостью в эти годы: — я всю жизнь с нежностью писал об этой сволочи; сейчас, когда она вышвыривает меня, я нахожу, что это сволочь не того сорта, о какой я всю жизнь писал с нежностью, — ибо я раздражен».

У него отрыжка, его клонит ко сну, но надо итти.

— «Благодарение року, — говорит он, — ах, эта изжога, я не привык к мясному — что я хотел сказать? — Да. Народ! они правы, бедняжки. Кастельруа гениален, и это для них оскорбительно. Бедняжки, бедняжки». Он засыпает — но надо итти. «Прощай, друг, — говорит он слабо, — нельзя допустить, чтобы» — когтистым пальцем он чиркает себе под горлом. — Грациозная улыбка

мудреца: «пусть уцелеет бумага!» — шепчет он, исчезая.

Это была наша последняя встреча.

* * *

Я секретарь революционного трибунала. Один из моих старых учеников превознес заслуги Лариво перед лицом покойного Марата. Марат выдвигал меня, я уклонялся, но должность секретаря я принял.

В это жестокое время я спокойно свершал жестокий долг. Я всегда был добр. Я не устал, я сохранил доброту, но стал чрезвычайно, до крайности спокоен. Три разных времени прошли передо мной и наступило четвертое. Времена человеческие коротки. Человеку некогда делать совершенное. Бывший аббат Витраль бесконечно прав. Аббат Витраль.

Однажды я увидел толпу изгоняемых священнослужителей. Это был гордый и жалкий чернорясый сброд. Один из священников привлек мое внимание огромным ростом и упрямой бодростью мужицких скул. Он что-то жевал на-ходу и грубо переругивался с конвойным. В особенности мне бросились в глаза его белые носки, спущенные до подошвы и запачканные кровью. Рядом с ним хромал крохотный попик.

Вечером вхожу в кухню. В кухне на низком табурете сидит огромного роста человек в зеленом фартуке, полном картофельной и луковичной шелухи; при моем появлении он схватил полотенце, обвязал себе голову и, шумно вздохнув, продолжал чистку овощей. Дениза стала возле в оборонительной позе, вбок устремив блуждающий взгляд.

— Здравствуйте, — сказал я приветливо, чувствуя присутствие в кухне и в сердце Денизы чего-то антиреспубликанского. Внезапно белые спущенные носки великана, обнажившие могучую щиколотку, поразили мою память.

— «Дайте же батюшке чистые чулки, Дениза», — сказал я.

Дениза растопырила руки, издав стон умирающей курицы, а священник, еще раз шумно вздохнув, снял с головы полотенце; незаросшая тонзура на большой темноволосой голове была тщательно замазана сажей.

Я прикрикнул, Дениза нырнула в дверь и тотчас вернулась с парой моих носков; она отодвинула мешок картофеля и, пряча голову, схватилась разом за оба рваных башмака священника: он побледнел и оскалился, — она подняла на него испуганные глаза и, осторожно стянув обувь, спустила носки: ноги были залиты черной кровью.

— «В щебне дорог много стекла», — сказал священник прекрасным басом.

Дениза прислонилась головой к буграм картофеля в мешке и, дрожа всем телом, принялась рыдать. Тогда я вышел.

Я подошел к моей постели. Под подушкой торчал мешок с трактатами Кастельруа, — благодаря этому, быть может, я постоянно видел оглушительные сны: гений этого человека стеснял мне сердце своим присутствием в мешке с бумагой. Быть может, Кастельруа убит детьми революции — и все, что от него осталось — этот мешок, наполненный неслышным ураганом его мысли.

В трибунале я подписывал десятки смертных приговоров ежедневно. Я не был из числа детей революции — я был из числа ее отцов; из тех, чьи голоса наполнили пожаром старые закрома королевства, сожгли последние жатвы церкви и трона и засеяли пожарища колючим семенем новых времен — и семя прорастало в крови. — И ныне революция, дочь наших юных порывов, водила отцовской рукой:

«Смерть, смерть, смерть».

— Разве тот, кого, истерзав на кресте, люди назвали богом, — разве тот не был повинен в миллионах костров и распятий? В сумасшествии детей крестоносцев, в истреблении евреев, из рода которых он вышел? Разве камни Парижа Варфоло-

меевскою ночью не взывали к Христу голосами убийцы и жертвы? — Если бы Христос был бессмертен — безумие и вечное отчаяние стали бы его уделом, он носился бы над миром, как непрестанный вопль сожаления о содеянном.

Революция решала вопрос математически и трезво: кровь была взвешена и срок умерщвлений установлен. Истребление шло стремительным и четким путем машины доктора Гильотена.

Убивая, я не имел права хотеть жить и ежедневно выходил из своей двери, обросшей древним плющем, готовый встретить смерть, как добрую соседку.

Я был одновременно истомлен душевно и закален. Ненависть людей — вот то, чего вынести нельзя. Немного человеческой любви — это спасительно.

Я снова вышел в кухню. Великан, служитель Христа, жарил картофель на сковородке, стоя коленями на табурете, забинтованные ступни торчали врозь; он жевал огромный ломоть хлеба с салом; а рядом на сундучке Дениза пеленала полосами белоснежной кисеи разбитые бегством тощие икры — епископа Лагалетта! Дениза все еще плакала, а епископ крестил и целовал ее цветущие щеки.

— Сколько же их у тебя, бедное дитя? — спросил я, и она доверчиво вздохнула.

— Это все, — сказала она, — больше нету.

Лагалетт помахал мне бледной рукой. Я был растроган; он кряхтел отчасти от слабости, отчасти лицемерно. Этому человеку я был обязан девятью годами изгнания.

* * *

Мы стали жить вчетвером.

Под кровом торжественного палача — в их глазах я был палачом — священникам жилось безопасно.

— Витраль ночевал в сарае и не смотрел мне в глаза.

Дениза расцвела невиданно. Вняв моему запрету, она давно не посещала тайных месс, — а тут ежедневно ее благословлял епископ.

Одно из моих детских кресел стояло в кухне; прекрасное провизионное помещение было занято постелью Лагалетта.

Витраль работал за четверых. Он таскал из деревни мешки, дрова, туши лошадиного мяса, простаивал в очередях, стирал белье, неоднократно дрался. — Он стыдился меня, молчал, и еще я заметил — был он страстно влюблен в Денизу.

Однажды, когда он во дворе вешал белье, Дениза подошла к его руке; он руку убрал и

отодвинул локтем Денизу, когда она эту руку пыталась поймать.

— Кюре! Вы больше не кюре?

Он зверски повел глазом; она обмотала палец фартуком и вздохнула. Витраль засучил рукава и разглядывал свои руки, косматые как кокосовый орех.

— Священники не дерутся, — сказал он, считая свои ссадины, — и не крадут — 5, 6 —вот 7.

— Восьмая у локтя, — сказала Дениза, трогая пальцем, завернутым в фартук, его разодранный локоть.

— И не женятся, — прорычал тихо Витраль, пронизывая пламенным взором смущенную даму.

Дениза раскрыла рот и подумала.

— Расстрига тоже не партия для девушки, — заметила она небрежно.

— А для вдовы? — Дениза была вдовой и покраснела. — А для вдовы? — повторил священник и толкнул ее плечом.

Тут Лагалетт выглянул из окна и крикнул:

— Дениза, у меня болит живот от вашего супа. Сделайте мне припарку.

Дениза ходко побежала на кухню, а Лагалетт высунул Витралю язык до самого основания и прошептал пронзительно:

«Ликусь ратапли прапатик».

* * *

Однажды Лагалетт заболел и слег ненадолго. Дениза потеряла голову в заботах материнских, благочестивых, дочерних. Лагалетт выздоравливал. Было лето, жара; Дениза готовила больному в сарае теплую ванну и на руках относила его в сарай. Во дворе висело и сохло белье на веревках. Уже Дениза несла епископа обратно, торжественно, как само божье благословение, завернутое с головой в простыню. Озорное злобное личико Лагалетта глядело из простыни одним глазом, прижимаясь к денизиной доброй голове.

Витраль вышел во двор и делал вид, что пробует белье на-ощупь.

— Ноги голые, — сказал капризно Лагалетт, скосясь на аббата. Дениза ахнула и согнулась, пытаясь закрыть простыней епископские голые ноги.

— Позвольте мне, — подойдя, сказал мрачно Витраль; Лагалетт заклохтал ревниво.

— Неси, неси меня, — закричал он, и Дениза ушла, пылая, с своей запеленутой святыней.

Утро было раннее; висящее белье казалось ярко синим; солнечный свет лежал еще на пороге дома. Витраль отвернулся и нюхал просыхавшее белье, пахнущее ветром. Он думал о тысяче вещей.

* * *

Под кухонной привольной сенью расцветали страсти. У себя наверху я держал дверь открытой, чтобы слышать звук говора в кухне. Я привязался душою к этим людям.

* * *

Однажды посуда в кухне грохотала с особыми перебоями; плеск дождя во дворе смешивался с возбужденным басом Витраля. Опьяняющая теплая сырость наполняла дом. Я вышел на площадку лестницы и услышал:

— Судите сами... 127 епископов отказались присягнуть конституции; три четверти всего состава священников и викариев отказались подчиниться тирании — и что же, гражданка? — нашлись честолюбцы, жадные трусы, ленивцы, глупцы, янсенисты, галликанцы, монахи, треплющие хвостом по задворкам, лишенные сана, сброд высланцев, семинаристы, безграмотные певчие, марающие свою подпись на любом грязном листе, — и вот вам новая церковь. Так что ж — это церковь!?

— Нет, это гадость, скажете вы и будете правы, гражданка. Но, отвергая новую гадость, я возжелал...

— Блоха кусает, — сказал басом Лагалетт.

Витраль продолжал:

— Отвергнем и старые гадости, — хотел я сказать. Не смотрите на него, — то, что он делает — безобразно. Вытрите руки этим полотенцем, — и Витраль взял руки Денизы в полотенце и принялся их осторожно вытирать; отросшие волосы упали ему на глаза.

— Возжелал. Дальше! — произнес Лагалетт.

— Я многое понял, Дениза, — сказал тихо Витраль, — и я хочу вам сказать о причинах событий. — Сквозь темные космы он взглянул ей в глаза со страстью: — Натура не выдержала! — сказал он и сжал ее руки. Дениза наклонилась, пряча голову; Витраль помолчал: — «И вот революция» — сказал он с нежностью, — натура не могла дольше выдержать — и вот революция».

Тут епископ роняет туфлю со стоном; Дениза кидается к нему, надевает туфлю. — «Вы меня щекочете, дочь моя», — говорит он с мрачным бесстыдством. Дениза, благоговейно моргая, пытается поправить смятый коврик под его ногами, — и Лагалетт, съехав со стула, защемляет ее руку в своих коленях. Коса Денизы внезапно развертывается: знак предельного замешательства. Лагалетт принимается мяукать; аббат Витраль отвернулся и громыхает ложкой о край кастрюли. Я вхожу и говорю: «доброе утро». Все кланяются.

— Я не могу освободить свой зад из этого кресла, — говорит епископ насильственным ба-

сом, — иначе я раскланялся бы с вами стоя, гражданин педжегетель.

Дениза вздрагивает; Витраль чешет ложкой свою тонзуру, оставляя на ней нить капустного варева.

— Итак, что же я поджог, ваше преосвященство? — я спрашиваю с благожелательством; мне нравится этот злой шут, меня волнует его мучение, скрытое за фиглярством.

И он бормочет: — «Итак, что же вы подожгли? Трон святого Людовика... престол святого Петра... вот что вы подожгли. Вы не дали этим беднякам освободить свои зады из их гнездилища и спалили их вместе с ихней священной мебелью. Вы и развратник Кастельруа — причина позора и бедствий Иисуса во Франции».

Лагалетт поднимается, оседланный детским креслицем и, не, разгибая колен, обнимает Денизу. — «Глядите на этот зеленый череп, — хрипит он, простирая ко мне левую руку: — в этой подлой коробке сварена отрава, превратившая в труп цветы Франции и плод чрева Христова — самое католическую церковь», — тут он целует Денизу в живот и начинает лягаться, пока не сбрасывает с себя кресло, защемившее его поясницу. — Наговорив этой кощунственной, шутовской и злобной дряни, он вдруг шатается, закрывает лицо руками и между расставленных пальцев бросает на

меня зоркий и ласковый взгляд. — «Я болен. Меня отравили в этом доме. Пойду — умру», — бормочет он; кряхтя, целует меня в плечо, идет к Витралю, снимает капустный лист с его головы и, взобравшись на подоконник, подобно серой нежной обезьяне, моргая, глядит в окно.

Витраль, свирепо хватает оба ведра с помоями и, проходя мимо меня, говорит: — «Хозяин, примите меня завтра вечером. Необходимо объясниться».

— Хорошо. Завтра в девять, — говорю я.

* * *

В этот день, возвратясь из трибунала, я нашел развороченным мешок рукописей Кастельруа, скрытый моими подушками. Я остолбенел. Местами были вырваны страницы; чья-то рука совершала предательство в моем доме.

Я прислушался; во дворе, звонко стуча поленьями, Дениза бросала в сарай дрова, привезенные Витралем. Где-то поблизости раздавались знакомые голоса, и беседа их была обычна.

Я отворил дверь в прихожую, где лестница на чердак. Голоса слышались на чердаке.

Голос епископа произнес:

— Сегодня утром вы украли мою лепешку.

— Я также украл эти дрова, — ответил голос Витраля.

Молчание.

Затем Витраль произносит сквозь зубы:

— В 12 часов кухарка варила вам похлебку.

— Я бы попросил не называть кухаркой дорогое мне существо.

— Ваше обращение с этой служанкой непристойно, если уж хотите знать, — говорит Витраль.

— А вы глядите на нее — знаете как? — отвечает епископ: — духовное лицо!

— Что это во мне духовного!?

Дальше не слышу. Потом раздается:

— Довольно позора! Что? Очень хорошо. Кто это жалок? Вздор. Я переколю дрова, взрою огород и на той неделе пойду в Национальную гвардию.

— Можно еще и жениться, — отвечает тонкий голос ехидны.

— Обязательно, — отрезает Витраль.

— Пи-па-пуа! — говорит епископ.

— Что такое?!

Епископ вынырнул из чердачной двери и говорит, заглядывая в щель:

— На той неделе?

— Что?

— Продаете себя дьяволу и женитесь?

— В пятницу на той неделе! — кричит Витраль разбухшим от гнева голосом.

Епископ плюет на порог медленным плевком и, схватившись за поручни лестницы, сгорбленный как летучая мышь, глядит перед собой с выражением столь необычайной злорадной злобы, что, вздрогнув, я вспоминаю: Что это было? сон, виденный в детстве: человек, убивающий взглядом.

Увидев меня, Лагалетт изобразил испуг и, подхвативши себя под живот, сполз вниз по лестнице.

* * *

Витраль был честный малый, объясниться ему было трудно. Вечером он пришел наверх и сел на кончик стула, — стул качнулся.

— Не смущайтесь, Витраль, — сказал я.

— Метр Ларивo, перед вами мы свиньи, — и он вдавил кулак в свою коленку, — это раз. Затем — это два — я скотина. Но, метр Ларивo!..

— Но вы не унываете? — сказал я.

— Метр Ларивo, вы человек, вы поняли меня, — Витраль вздохнул огромным бычьим вздохом и улыбнулся в огонь лампы. — Я мужик. Я грубил святым отцам и принужден был постоянно каяться, — это разжигало мне печень... Взгляните, метр Ларивo, — он задумчиво поднес

кулак к огню моей лампы: ужели эта вещь бесполезна? — и он покачал головой. Я критикую республику — но трижды благодаря посту и покаянию во мне разливалась желчь: вот пятна на скулах — они проходят, мэтр. — Затем обратите внимание на этот голос, — и он пропел: «Inn-nnomminne Deumm.

Лампа мигнула, дохнув черным чадом.

— Бас, — сказал я.

— Голос, чтобы кричать — сказал он, — и на-днях я пойду и покричу на улице.

— О чем?

— Лавочник Патюр ходит в карманьоле, гвардеец республики, окружился апокалиптическим сиянием и он обсчитал Денизу, знаете насколько! — Священник встал и выставил ногу.— Ты что ли, Патюр, — освобожденный народ? — пропел он зловеще. — Церковь господня лепила свою троицу из мертвечины, сусала и ладана, — и да здравствует республика! Но, Патюр, из чего же ты лепишь, сволочь, своих кривомордых равенство-братство-свободу? Из ворованных медяков?! — Покажи-ка сюда твою троицу, да раньше надень ей штанишки.

— Тише, Витраль, — сказал я.

— В-третьих, — сказал Витраль, отдышавшись, — кривляка Лагалетт оскорбляет вас и Денизу: вы не находите, мэтр?

— Разве он опасен? — спросил я.

Зубы семинариста раздвинулись.

— Безопасен как жареный кролик, — загалдел он блаженно. Лампа мигнула дважды.

Дверь медленно растворилась. Лавочник Патюр стоял на пороге.

— Тут пахнет церковной сволочью, гражданин секретарь трибунала, — сказал он, — разрешите войти.

— Да пребудет милость мира равно над церковной и мещанской сволочью, друг, — сказал аббат: — ибо мы братья и равны.

— Вы опоздали, Патюр, — сказал я, — этот бывший священник ныне достойный сын республики, он исполнен глубочайшим пониманием революционных идей. Кроме того на-днях он женится на моей домоправительнице.

Все веснушки, родимые пятна, загары, таимые в течение целой жизни постной кожей семинариста, озарили багрянцем его костистое мужичье лицо. Аббат закашлялся.

— Дениза, милая! — позвал я, отворяя дверь в прихожую. Дениза не ответила.

— Позвольте, секретарь, — Патюр вытащил бумагу из-за большого обшлага: — гражданка Дениза Сотанли сегодня утром сочеталась браком с бывшим епископом гражданином Лагалетт.

— Лагалетт?! — Бумага в руках лавочника была написана рукою Лагалетта. Лагалетт донес на меня и Витраля, Лагалетт женился на бедной Денизе, — кто знает, какие новые коварства готовило нам его преступное фанатическое сердце.

Бедняга аббат зажал в ладонях свое горящее лицо и смотрел на меня с невыразимой жалобой, полными огня глазами.

Патюр рассматривал письмо.

— Секретарь, вы укрывали у себя беглого священника?

— Целых двух, гражданин Патюр, — сказал я кротко: — Аббат Витраль служил у меня садовником, епископ Лагалетт ходил за курами и чистил лошадей. И оба женились на моей кухарке.

— Я не женился — нет, — прошептал Витраль.

— Он не успел, Патюр, — епископ отбил его невесту, а сверх того еще донес на нас обоих!

— Да, трудно разобраться, — сказал Патюр, — стало быть, ваши священники якобинцы, — он наморщил лоб и произнес с твердостью: — Отечество, которое в опасности, окажет доверие аббату, который женился, а того, который хотел жениться, но во-время своей революционной готовности не обнаружил, того аббата отечество берет под подозрение.

Витраль, выставив нижнюю челюсть, нагнул голову.

— Дайте мне ключ от сарая, — продолжал Патюр: — я запру покамест вас обоих, — а там разберутся.

Огромная тень Витраля выросла позади стола, обогнула угол комнаты: аббат обхватил тело Патюра, открыл его головой окно и вывалил его за окно в траву; письмо Лагалетта очутилось в поднятом кулаке священника. Он метнулся к двери, дверь ухнула, великан исчез.

* * *

Я сидел один взаперти, прислонившись к дровам, когда в сарай военной походкой вошел Лагалетт — в мундире и красном шарфе.

Он обмотал веревкой оба конца сломанной задвижки и сел на корягу; фонарь светил на его слабую злую щеку, щека дрожала. Не спуская с меня глаз, он вынул из-за пояса какие-то вещи и отложил их в сторону. Он задыхался.

— Кайся, жертва моя и Христова! — прошелестел он призрачно и замер в припадке удушья; хрипя и разевая рот, он принялся раздеваться: под красным поясом была замотана пола скрытой рясы, — он высвободил крест и поднял его над моим теменем.

Я увидел помертвелое лицо и огромные, ставшие стойком глаза. В холодном бешенстве неслышным свистом уст бедняга произносил свою анафему.

В клочках хриплого дыхания рвались величавые слова ненависти.

Измученное тоской злое сердце билось и сжималось в этом бедном голосе. Лицо Лагалетта исполнилось сатанинской возвышенности, — раскинув руки крестообразно, он проклял землю, потрясенную нечестием. На потолке сарая лежал бледный свет; казалось, оттуда бледным светом смотрит второе лицо Лагалетта. Внезапно он остановился. Я вздрогнул.

— Забыл как дальше, — вдруг сказал Лагалетт совершенно трезво. Я смотрел на него с любопытством. — Так-с, — сказал он наконец.

— Да, — ответил я.

Тут я заметил, что мускулы в его лице странным образом дрожали. Любопытство мое возрастало.

— В чем дело, Лагалетт? От кого вы явились!— спросил я.

Он задрожал как бы подавляя кашель, собрался с духом и пролепетал шепеляво:

— От Христа.

Тут он внезапно фыркнул, попытался сдержаться, покашлял, вновь повторил свои слова и,

на имени Христа, раскатился бессильным, бесконечным смехом; соскользнув от хохота наземь, он уронил фонарь. Фонарь потух. Лагалетт вздохнул от испуга в темноте, застучал зубами и начал примащиваться возле меня. Потом он стал всхлипывать.

— Что вы, Лагалетт? — спросил я.

Но он согрелся возле меня и замолчал надолго. Потом сказал что-то тихо, я не расслышал, он тронул меня за лицо, как ребенок, и прошептал:

— А у меня тут нож: обронил в темноте. Подопри мне спину — сердце не бьется.

Я подпер ему спину.

— Лагалетт, вы не спите?

— Отыди, сатана, не приставай, — ответил Лагалетт и обнял меня за шею.

Он мирно всхрапнул. Щели сарая стали серебряными, рассвет. Под утро он спал легким сном и сквозь сон спросил детским голосом:

— Где дурак Витраль?

— Пошел искать Денизу.

Лагалетт шевельнул головой на моем плече и пробормотал:

— Гражданку Лагалетт.

— Вы женились?

— Не совсем, — прогнусавил он сонно; посопел носом и, зевая, простонал смешливо, — не успел — видите ли.

Так мы заснули под утро.

Утром он стоял надо мной, опоясанный красным, и смотрел на меня жестко и спокойно.

— Идем в суд, — сказал он.

В трибунале перед лицом народа и судьи происходил скандал. Витраль творил невероятное. Он поставил вверх дном встрепанные головы республиканцев. Граждане сидели верхом на загородке, отделяющей суд от народа.—«Вылезай из стойла!—орал Витраль.—Вот наш предатель бывший епископ Лагалетт. Лагалетт, где твои галеты? Раздень его, парнишка, — ты увидишь забавные вещи. Пожалуйте, мэтр Ларива. Нынче ночью я исповедывал гражданку Лагалетт. Дело ясно как лик херувима... Не прерывать меня, синебрюхая каналья», — вопил он в ответ на свистки. «Гильотину! — кричали в толпе, — гильотину поповскому мясу!» — «Мне-то что! — вопил Витраль, — давай сюда твою мясорубку — расходуй мужицкую кость».

— Он якобинец, я вам говорю! — верещал где-то голос Денизы.

— Держи карман шире, гражданка Лагалетт! — отвечал ей Витраль.

— Судья! дай рассудить народу... Хватай попа! — кричали люди, раздраженные и веселящиеся.

— Я тебе покажу попа — эй ты, лавочник — на держи мою рясу, — и Витраль, скинув фартук, швырнул его в голову Патюра.

Поднялся свист и гам разнородного характера.

— Получай мужика! — орал Витраль, стоя в полосатых брюках и заправляя в них сорочку, — переодеться немудреное дело, к чорту маскарад — смотри на кость и шкуру. Раздевайся, епископ Лагалетт, — размотай ему красный набрюшник.

Юркий парень, зацепив сзади пояс Лагалетта, рванул его, пояс пополз на колени. Судья швырнул стулом в горлана Витраля. Толпа утихла, чтобы послушать судью.

Судья — бледный человек с голосом беззвучным широко разевал рот, вздымал руки, он делал все чрезмерно, стараясь попасть в ногу революции, но глаза его оставались бледны. Его напыщенную речь прерывает Витраль.

— Не вылезай из шкуры, — говорит он.

Раззадоренная толпа завопила. Голос Витраля покрывает вопли. — «Эй, вы, кошачая музыка, тихо! Пусть говорит Лагалетт, предатель».

Лагалетт выходит вперед, воздев руку: — «Мой бог Марат, ты умер за нас!» — кричит он тонко — тут красный пояс сползает ему на колени, изпод пояса выпали четки, молитвенник и нож. Услужливые руки выпускают поверх его брюк полы запрятанной рясы. Юркий парень отшвырнул ногой благочестивые вещи, поднял нож и прокричал подобно петуху: — «Отточен, как коса перед косьбой».

Судья потрясает ножом, толпа притихла.

— С какой целью отточен нож, скрытый твоей сутаной? С какой целью скрыта ряса багрянцем наших знамен? Отвечайте!

Лагалетт показал всю правду. Он скрывался в моем доме, считая меня виновником богопротивных событий, он искал моей смерти; он предал меня с этой целью; для меня предназначался и нож на случай неудачи.

— Вы избрали гражданина Ларриво единственной жертвой?

— Первой, — сказал Лагалетт.

Украденная Лагалеттом у меня из-под подушки рукопись Кастельруа сослужила мне службу. Расчеты Лагалетта не оправдалась. Строфы Кастельруа не могли очернить меня перед миром революции. Призывы к восстанию и кровожадность ревели в каждой строке. Лагалетт был приговорен к смерти. Меня, Денизу и Витраля отправили домой; часть дороги Патюр и прочие в знак оправдания тащили меня на руках. Весь вечер на кухне Витраль издевался над бедной мадам Лагалетт. Дениза забилась в угол в провизионной и не отзывалась. — «Ночуйте в доме — она меня беспокоит», — сказал я Витралю.

Ночь была безмерно тиха, я не спал, глядя в окно. Тьма была печальна, меня знобило. Я думал с тоской о Лагалетте. Внизу я слышал ры-

дание, крик, опять настала тишина, стены трещали, где-то в упорном буйстве возились крысы.

Далеко за полночь я заметил странное летание огня в окне провизионной. Я почуял беду, вышел быстро во двор, заглянул в окно: толстая свеча, оплыв, растекалась огнем вокруг поникшего фитиля. Дениза спала, свесив руки с края постели. Витраль, обняв спящую Денизу, наклонялся через нее, пытаясь задуть свечу, постель скрипела, он вздыхал.

Он увидел меня: — «Мэтр Ларивo! — прошептал он, застенчиво улыбаясь, — задуйте ее, сделайте милость. Спасибо. Покойной ночи».

Я и Витраль — мы провожали Лагалетта к месту казни. Мы шли возле телеги, путь был дальний. Лагалетт был сосредоточен.

На углу Круа де Птишан телегу задержали утренние возы с овощами, больной ребенок с парализованными сухими коленками сидел на бочке и держал в руке бумажного петуха, сияющего зеленым лаковым хвостом. Суровое упоение застыло на маленьком лице. «Здравствуйте», — сказал Лагалетт ребенку. Мы двинулись дальше. Ребенок, продолжая держать петуха перед своей грудью, важно, без улыбки смотрел нам вслед. Из-за крыш выглянуло солнце, от реки запахло деревней, на мосту было пустынно. Возле лавки

игрушек Лагалетт попросил остановиться.—«Купите мне петушка», — сказал он. Конвойные согласились подождать. Руки Лагалетта были связаны. Он взял ртом игрушку и, пища и ворочая ею во рту, стал припрыгивать на своем сидении.

Я обдумывал те слова о Лагалетте, с какими я обращусь к толпе в защиту этого скорпиона, оказавшегося сумасшедшей блохой. Но сам Лагалетт нес в себе иное вдохновение — и — приглядевшись к нему — я перестал думать и начал ждать, во что преобразится этот исступленный фигляр в последнюю минуту. При приближении к площади казней, в переулке, где уже приостанавливались прохожие — воздух бурлил отзвуками большой толпы, подпиравшей подножие гильотины.

Донесся охающий шквал. Еще чья-то голова упала; веселым гневом, веселым страхом, веселым бездушьем грянул прощальный взрыв голосов.

Лагалетта сняли с телеги; он припрыгнул и среди толпы вприпляску двинулся к эшафоту. Давали дорогу. Расступались перед пляшущим шутовским черным тельцем с торчащей во рту зеленой писклявой сосулькой. Я дрожал с онемевшим ртом, руки мертвели. Белые глаза веселого уродца метали пламя лукавого безумства. Кругом ухмылялись грубо, — рты, челюсти ворочали тяжелые слова брани и грязи, зубы грозили смехом убийц.

Лагалетт шел, тихо танцуя и посвистывая в пищалку; не останавливаясь, он съежился и прыгнул на первую ступень помоста казни.

Его веселая торопливость озадачила; голоса, рычавшие о соблюдении порядка, стихли; Лагалетт сел на ступеньку и пискнул. Палач ждал; его рот опрокинутый книзу изогнулся усмешкой. Неслыханное спокойствие маленького черного шута сулило беспримерное развлечение. Уже его понукали; хриплый смех, свистки звучали сдержанно, в ожидании чего-то безобразно веселого. Лагалетт выплюнул в толпу петушка и сказал, очаровательно шепелявя: — «На память». Потом оглянулся. Огромная фигура Витраля стала сбоку; скулы его были серы, глаза холодны. «Сначала», — сказал Лагалетт нежно — и толпа возбужденно насторожилась, — «сначала кто-нибудь поднимите мне рясу — мне нужно». — Взрыв гогочущего гвалта был остановлен хрипящим веселым шипом, — никто не хотел пропустить ни одной подробности; поодаль люди полезли друг другу на плечи.

— Отец Витраль, — прокартавил епископ, — ну, что же?

Витраль дрогнул буйно и весело. Он торжественно поднял рясу епископа и оказал ему всю необходимую помощь. Лагалетт, стоя со связан-

ными назад руками, громким шопотом давал ему короткие указания.

Клокотанье томного хохота легко пронеслось в сияющем весеннем ветре. На лице палача зияла синезубая улыбка.

— Все, — сказал Лагалетт, отряхивая рясу движением поясницы. Буря аплодисментов и воющего смеха окружала его предсмертную забаву. Он побрел по ступеням, каждым шагом, невинным кряхтением, вздохами старания привлекая все новые сердца к каждой точке своей мизерной и обольстительной фигурки. Он оглянулся раз и два, забавно моргая. Аплодисменты не смолкали. Он взошел на помост, откуда он всем был виден, и стал лицом к палачу. Легкий полупоклон палачу, — палач был французом — он ответил поклоном: толпа затаила дыхания, прерываемые блаженным блеянием мальчишек.

— Поцелуйте меня, — сказал Лагалетт палачу с кротчайшей строгостью. — Поцелуйте меня, — вдруг произнес Лагалетт, и палач послушно наклонился. Он был французом.

Рев, визг женщин, верещание мальчишеского сброда — точно тысячи диких растений грязных и нежных — рванулись из недр толпы и наполнили воздух страстным взыванием — Лагалетт шагнул к гильотине. Тут я начал выкрикивать речь о шуте и безумце.

— Крови безумных не надо! — кричал я.

— Крови не на-до! — понесся вопль над площадью. — Милости! Крови не надо!

Неслыханно высокая нота звенела над мостами Парижа в этот день.

— Не рубить! не рубить, не рубить! — гремела площадь. — Не тронь его, Красс-Нуар, — оттащи его прочь, Синезубый! — это кричала любовница палача Мишотта, она царапалась, расталкивая стражу.

— Отдай его нам, шельмеца! Стой! Стой! Стой! Красс-Нуар! не спускай ножа! — звенели торговки поросячьим визгом. — Лагалетт онемелый подполз на коленях к машине и просунул голову в круглое отверстие плахи.

— Лезет! Лезет, каналья! Держи его! — рявкнула площадь — и, проломив плечами сторожевую конную цепь, громоздясь, поползла на эшафот. Лагалетт, бледный, цеплялся за дерево плахи.

— Вылезай! — кричали женщины исступленно и поддавали ему в зад кулаками. — Вылезай, сволочь! — кричала, обливаясь слезами, Мишотта; и, намотав на руку рясу Лагалетта, могучим рывком выбросила его из пасти машины.

Лагалетта, разбитого, полумертвого, палач Красс-Нуар сам принял на руки.

— Эй вы! граждане площади Карруселей — берете его себе? живьем? — провопил он буйно.

— Беррем! — раскатилось. Толпа ощетинила руки — и палач, как в гребни прибоя, швырнул им навстречу сверток рясы с уцелевшей бледной головкой и торчащими ножками Лагалетта. Волны рук унесли человечка, передавая его одни другим, пока его вихрастое остроухое личико не мелькнуло в последний раз над плечами толпы у поворота в переулок.

Я и Витраль, выдравшись вслед за ним, застали его стоящим в кругу свирепых от радости баб, дразнивших его и кормивших вишнями с лотка.

Он смотрел на них исподлобья, дрожал, щелкал зубами, морщил нос и ел вишни; он вцепился в мою полу, как только я встал возле.

Подошел хозяин большого цирка «Люмьер Жакобин» и предложил достать официальное помилование гражданину Лагалетт, приглашая его в состав своей веселой и знаменитой труппы.

В тот же вечер Лагалетт, любимец Парижа, выступал в балагане с повторением дневной сцены — спектакля своей казни; роль палача играл Витраль, ставший мужем Денизы.

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ.

Милая, Ваш посланный влетел, как ураган, никто из моих людей не смог остановить его в прихожей, — у меня было движение защититься; но он так таращил глаза и так отдувался, что я расхохоталась, прежде чем спросила его, в чем дело.

Но Вы опять переменили ливрею? Узнаю Ваш вкус и Вашу расточительность.

Ах, какое лицо! От смеха у меня соскочили обе туфли. Уступите мне этого малого, я обожаю глупцов, моя прислуга слишком умна для меня и хитрее меня во сто крат, — это так утомительно.

Так о Вашем письме. В субботу у Орлеанов Вы танцовали с Лакордьером, и это нелюбезный человек? — Лакордьер, Франсуа Эмэ... Моя кормилица была Лакордьер, наш старый угольщик, помнится, был Лакордьер; это так же хорошо, как, напр., Шарбонне, Клошѐ, Барбю. Его светлость Лакордьер! С позапрошлой недели он граф,

и король сделает его герцогом и пэром. Что Вы могли танцовать с ним, бедняжка моя? Он не затолкал Вас до полусмерти своими деревенскими копытами? Боже мой, кто нынче при дворе! С кем же будут танцовать наши дочери!

Так он нелюбезен и титулы его не интересуют.— Что я Вам скажу? — У нас нет оружия против этих людей — Вы знаете, лучи какого солнца ими отражены. С другой стороны, я сознаю, что претензии этого человека невыносимы. Часто он позволяет себе шутить неуклюже и невоспитанно; благодарите судьбу, что он не вздумал за Вами ухаживать. Вчера он просыпал сгоряча весь свой табак мне на колени, — я выбросила это платье, несмотря на серебряное шитье.

— Милостивый государь, — сказала я, — вы стоите во главе правительства страны, в основу законов которой положены уважение к семье и браку; — каково же противоречие ваших поступков с надписаниями тех скрижалей, стражем которых вы поставлены свыше!

— Но это для народа, маленькая маркиза, — сказал он: — разве мы с вами народ? — И он посоветовал мне получше воспользоваться его мудростью и опытом.

Ах, как он груб! Он не бреется по три дня. И потом — этот огромный нос!

— Милая, что делать, эти люди нас одолевают, но они угодны его величеству — итак, утешимся.

* * *

В одном из писем я просила уступить мне Вашего слугу, — дорогая, пришлите мне его завтра. Вчера ночью один из людей, несших мой портшез, споткнувшись на кошку, так меня встряхнул, что мне сделалось нехорошо. Я прогнала его тотчас.

Милая, ночью кошки овладевают Парижем, в переулках негде ступить, они пугаются факелов и шныряют под ногами у людей и бешено кричат в подворотнях и на крышах.

Теперь о Лакордьере. Этот человек мог бы лучше употребить свое постоянство. Он завтракает у меня через день и ворчит, когда являются с визитами.

Он ложится грудью на стол, ест все вперемешку, молчит подолгу, смотрит на меня, подперев щеку и щелкая табакеркой, — потом вдруг скажет: — от всего сердца желаю успеха на войне вашему мужу, —в этом месте я стремительно перебиваю его комплиментом; я начинаю болтать любезности, он восторженно улыбается, потом прерывает меня хохотом или фразами вроде: — ах, какие глупости! Как она мила! Я вас обожаю,

мадам! — Я не даю себя обескуражить, я несусь дальше, как в танце, — но, понимаете ли, — никогда не стараюсь ни выведать что-либо, ни намекнуть на малейшую выгоду, — ни одной просьбы, ни одного вопроса, — что Вы скажете? Это серьезное кокетство? Милая, конечно, он не то, что мы называем наш, человек света, настоящий человек, но это гениальное животное.

* * *

Конечно, Вам не следовало просить меня об этом. Он сделал скучное лицо и сказал коротко: — хорошо!

Жанн, только для Вас я пошла на эту неприятность. Он стал неразговорчив и, уходя, уже возле дверей, почему-то спросил, обернувшись: — интересует ли вас судьба Франции, маркиза? — Честное слово, я страстно хотела в эту минуту, чтобы судьба Франции меня интересовала.

Но я не солгала ему, и это вызвало веселую улыбку его больших жестких губ. — «Для меня границы Франции, граф, — сказала я, — это Марли, Фонтенебло».

Он рассмеялся, но потом, вспомнив мою просьбу, опять потемнел и вышел.

* * *

Однако, Вы можете спать спокойно, — Ваши земли, титул и прочее, все это устроено.

* * *

«Сделайте и для меня что-нибудь», — говорит он мне нетерпеливо каждый раз. Он опять назойлив, невыносимо груб, вообще, можно сказать, что все испорчено.

Теперь это уже не разговоры, это атака, которую я стараюсь не замечать, уклонения, переходы с одного места на другое, более безопасное, — одним словом, борьба, война, ненависть.

Я сокращаю свои комплименты по возможности, чувствую себя униженной и презираю его.

* * *

Сегодня кончилось тем, что он опрокинул меня в кресле и измял и исцарапал мне рот и шею своим зубастым, жестким ртом.

Я тщетно отбивалась, потом начала рыдать, и тогда он меня оставил. Он ходил по комнате, а я старалась сдержать стоны и вздохи.

— Я вам противен?! — сказал он грубо.

Я молчала, чтобы не расплакаться.

— Ответите вы мне или нет! — закричал он, — довольно вам водить меня за нос!

Это меня взорвало.

— Я не водила вас за нос, милостивый государь! — сказала я гордо: — если вы настолько не привыкли к простой вежливости, что способны видеть в ней любовные авансы, то это подтверждает только те недостатки вашего воспитания, которые и без того явны для всех!

— Простая вежливость! Вы морочите меня, маркиза, — сказал он. — Вы принимаете человека четыре раза в неделю и считаете это ничем.

— Я полагаю, что это обязанность моя по отношению к его величеству.

— Ах, вот что. Я обязан королю — так я вам надоел, а вы терпели для короля...

— Ну, конечно! — крикнула я вне себя: — у меня на конюшне люди лучше умеют себя вести. Ваши достоинства, которые нужны королевству, в моей приемной показываются лишь с обратной стороны!

Лакордьер сидел, прикрыв глаза; огромные плечи его торчали над опущенным, небрежно завитым затылком.

Он ушел, не сказав ни слова; он оставил тяжесть на моей душе, горечи которой я не в силах передать.

* * *

— Вы меня не любите, маркиза? — Король взял мою руку, сжал двумя пальцами запястье и выронил ее; он глядел в сторону; выпуклый пожелтелый белок его глаза блестел, и край мягкого рта улыбался смущенно и насмешливо.

Я вам никогда не говорила об этом недоверчивом и любопытном взгляде короля, который преследует меня так часто в часы больших приемов и церемоний и за обедами в Марли.

Вы знаете это его движение: правая рука шарит на коленях лорнет, большие глаза, фиксируя, близоруко сощурены, — потом внезапно он отворачивается, и вы забыты как бы мгновенно.

Однажды, краснея, я проговорила тихо, так как иначе не умею говорить с ним: — Государь меня в чем-то подозревает? — Он ответил: — Я позреваю, что вы умны, маркиза.

И эти необычно короткие и тихие фразы все чаще возникали между нами; теперь они свелись к одной форме: — «Маркиза меня не любит?» — и мой ответ, еле слышный: — «Люблю ли я его?»

Однажды, — раньше, — Лакордьер спросил меня, окажу ли я ему большее внимание, когда он станет герцогом. — Т. е.? — После нового года, — сказал он: — что вы на это скажете? — Что вы попадете в длинный список, граф, — ответила

я, вздыхая. — А если бы я сделался королем? — Вы не сделались бы им, дорогой граф. Вы стоите десяти королей, но вы не король. — Он покраснел тогда, лицо его стало грубым, и он замолчал.

Я католичка, я люблю свое религиозное детство, наши прекрасные старые церкви, где темно, пахнет холодом, камнем и воском; церковное золото, церковные свечи внушают мне особые таинственные, грустные мысли. Священник для меня особое существо, перед которым я испытываю почтительность, умиление, любопытство и еще что-то.

Все это чуждо, волнующе, постоянно близко к смерти, ко всему важному и страшному в жизни — и все же человечно.

Я начала о короле. Я его не люблю. Это — жирный старик, равнодушный ко слишком многим важным в мире вещам; говорят, он был храбр на войне. — Может быть, — из страха осрамиться? Он боится попов, боится бога, своей старой любовницы, боится быть смешным — но всего более — боится смерти; в его присутствии сама идея смерти ретируется с поклонами. Ему 60 лет. Его ум и способности всю жизнь были направлены на все внешнее, — он стал актером и лжецом перед самим собой; — но он король. Король. — Прикосновение к нему драгоценно, он сам драгоценен

весь от обрезка мозоли до выдернутого волоска из его старых красных ушей. — Он отвратителен, бессмыслен — и он священен. — Это внушает сладострастье и ненависть; значит ли это, что мы, женщины, сами того не зная, душевно развращены? Тут что-то молитвенное и что-то дьявольское.

Я честная женщина, как Вам известно, но, повторяю, красивое, строго опущенное лицо аббата меня волнует. Почему?

Потому, что это печать запрета, намек на богохуление, священная неприкосновенность соблазняет к прикосновениям.

— А король? — Как он окружен непроницаемостью, в пределы которой не вторгается ничто не освященное, с каким странным изумлением я смотрю иногда на мозаику пола, холодную и гладкую, которой коснулись высокие каблуки его башмаков. Все эти реверансы и коленопреклонения подобны волнам, которые склоняются у берега. Почему склоняются и не идут дальше? — Как трудно понять некоторые вещи!

Но мне часто хочется поднять голову среди склоненных и лепечущих, взойти быстро на возвышение трона, — потрепать дряхлую щеку короля и сказать громко и жалостно:

— Ну, довольно, — мой бедный, бедный старик!

Вместо этого я опускаю ресницы под его пристальным взглядом и испытываю грешное волнение. — Чем это кончится, друг мой?

Вести о муже прекрасные, он сумел много сделать достойного и дельного, не испортив отношений с принцем Вандомом. Лакордьер настаивает на его назначении посланником в Италию, — и в этом я ничего не понимаю... Но я вдовею второй год, дитя мое, — а что из Парижа меня не отпустят, это ясно.

* * *

— Я честная женщина, Жанн, — клянусь Вам, я люблю мужа.

Но в эту минуту я подумала: зачем тебе дана жизнь, зачем прекрасно столькое в мире — туберозы, летний воздух, головокружение? — наполнить жизнь отречениями не есть ли хула на творения бога?

Король шел за мной по саду без свиты, и я должна была, наконец, остановиться и сделать свои реверансы, — мои цветы дрожали, и я прижала их к груди. Он подошел ко мне вплотную и взял за плечи, я задыхалась. — Он старый, он отвратительный, — кричала я себе внутренно: — ты обезумела! — Король! — звенело у меня в крови. Он поцеловал меня женственным, старым, малень-

ким ртом. — Король мой! — воскликнула я. Он обнял мою талию и повел меня к беседке.

Церковный запах этой комнаты, ее темнота и прохлада, мои белые цветы на полу, — золото, красная и зеленая парча, весенний свет и свечи, — мне бы хотелось в самом таинственном из храмов создать пестрое окно с металлическими темными контурами и вставить в них все формы и цвета этого вечера и всех вещей, окруживших меня тогда.

Ужасно это или прекрасно, мой друг, скажите мне? — я больше ничего не понимаю.

* * *

— Да, я клянусь Вам никогда не возвращаться туда, но не из-за детей или мужа. Это — другое, это тоже очень важно, — но главное, что я хочу, — это сохранить навсегда восхищение этих минут гордым и ничем не оскверненным в моей памяти. В детстве после причастия — нет, дорогая, я больше не буду говорить об этом, я уже не различаю священного и нечистого, я боюсь кощунства, я не понимаю его более.

Я не хочу, чтобы он бросил меня, как он это делал с другими; кроме того, я не хочу связанных с королевской любовью унизительных выгод. Какое счастье, что он так боится своей дамы!

* * *

Не браните меня за мое молчание, — спросите старого Кабюс, как он мучился с моей лихорадкой. Надо Вас подготовить: разом вы этого не вынесете. Однажды вечером мы так уютно играли в желтой гостиной с герцогиней, герцогом и аббатом. — «Клеманс, — говорит сестра:— экипаж Лакордьера, смотрите, он делает огромный объезд, чтобы презрительно промчаться мимо ваших окон».

— «Но экипаж остановился!» — кричит герцогиня, — и вот они обе прилипли к окну, — тоненькая Адель и огромная, красная герцогиня.

Мы были уверены, что это назначение маркиза в Италию; Адель закружилась вокруг меня с поздравительными реверансами, толстуха отдавила в ажитации ногу собачонке, а двое мужчин — по обе стороны от меня — целовали мне руки и просили покровительства.

Я вышла в приемную, весело взволнованная, и от всей души протянула обе руки Лакордьеру; я всегда жалела о нем и уважала его решительно больше всех придворных и министров.

К сожалению, это вышло очень дурно, очень некстати.

Он побагровел, криво улыбнулся и преувеличенно раскланялся, голос его скрипел и срывался.

— По вашему приему, маркиза, я могу судить, — сказал он, — что цель моего появле-

ния для вас не тайна. Я, впрочем, так и предполагал.

— Ну да, граф, — сказала я, — мы все надеемся, что вы добрый вестник, быть добрым вестником, не правда ли, приятно?

Он помолчал с видом человека, пережидающего головокружение.

— Сядьте же, граф, — сказала я, удивляясь страстности и упрямству этого злопамятного человека.

Он сказал, наконец, с усилием:

— Король ожидает вас сегодня после обеда, за вами будет прислано...

И сел, ворочая белками и засовывая дрожащую руку за воротник.

Я тотчас же распространилась о том, как я счастлива увидеть его величество, и просила передать ему те чувства признательности и обожания, которые...

— Да, да, — прервал он грубо, — все это вы расскажете ему лично в старой оранжерее, или в той же беседке, что и тогда.

Я остолбенела. Он продолжал:

— Незачем смущаться и падать в обморок. Тише, маркиза, не уходите и не ломайте рук; он находит, что вы превосходны, он совершенно доволен. Тише, куда вы? — он схватил меня за руку. — Теперь мне придется считаться с ва-

шими политическими взглядами, — ну, смотрите же!

Я вырвалась и выбежала из комнаты, словно она горела.

* * *

Вот когда я горько почувствовала Ваше отсутствие, дорогой друг!

Едва я оправилась от болезни, я поняла необходимость действовать; пришла пора подумать о семье и о муже. Я попросила аудиенции.

В Версале я тотчас же еще в первой приемной ощутила вокруг себя как бы дуновение скандала. — Дорогая! — Это я, я, благоразумная и спокойная, внушавшая стольким неограниченное доверие и, смею сказать, уважение не по возрасту; я — так внезапно и так непредвиденно создала вокруг себя эту тревожную атмосферу непристойного любопытства, завистей, опасений, осторожностей и назойливой нежности! Милая Жанн, я плачу, как девочка.

Наш двор — Вы его знаете, наши дамы, о! их также, — наша молодежь!

Эти люди стоят в кружке, осклабленные и оглядывающиеся: это игрушечные крючки, цепляющие все проходящее, весь мир превратившие в кучу бирюлек, — я ненавижу их. — Умники

еще противнее: можно ли так надуваться ежеминутно, чтобы во что бы то ни стало сказать нечто замечательное, и так напряженно и неприлично молчать, если ничего замечательного не придумано.

Бален! — он с такой многозначительной таинственностью прошептал мне на ухо свое ничего не значущее приветствие, что меня охватила мучительная дрожь.

Меня приняли; затворили дверь. Король был не один: против него, у окна, за столом над бумагами, стоял огромный Лакордьер и в чем-то, выразительно объясняя, убеждал короля; король сидел, отодвинувшись от стола и положив пухлые руки на короткие круглые коленки, напряженно смотрел на министра; сизый дневной свет ложился сбоку на жирные морщины королевского лица и делал его как бы рябым; грузный живот в голубом жилете отвисал на ноги, и каблуки не доставали до полу; ему было неудобно на непривычном сиденьи, но граф приколдовал его к месту и требовал решения.

— Вот маркиза! — сказал король, — дорогой Лакордьер, мы договорим вечером. Маркиза, здравствуйте.

— Ваше величество, — сказал Лакордьер нетерпеливо и почти гневно: — если бы вы решились подписать сейчас!

— Дорогой, это не так просто. Маркиза, согласны вы отдать стране десятую часть ваших доходов?

Я прошептала что-то о всегдашней готовности служить королю и Франции всем, что имею.

Лакордьер злобно меня фиксировал.

— Маркиза готова отдать вам все, что имеет, ваше величество, — сказал он.

Король засмеялся и подошел ко мне вплотную.

Он был весел, так как отделался от министра, и величественно принялся меня рассматривать.

— Государь!—сказала я, дрожа и опускаясь на колени, — простите, что я предупреждаю события, но, так как назначение моего мужа решено, то я умоляю вас не препятствовать мне следовать за ним на место его назначения.

На этот раз король очень быстро нашел свой лорнет:

— Но, маркиза! — сказал он. — Вы совершенно необходимы при герцогине Бургонской. Что вам не достает, маркиза? И вообще это большой разговор. — И он засмеялся снова с огромным удовольствием.

Король стоял спиной к Лакордьеру, но я видела его лицо, на котором было выражение презрения и ненависти, не поддающееся описанию.

— Одним словом, ничего не вышло, милая моя. — Меня душили слезы, и я поспешила

ретироваться. По выходе из дверей меня окружили.

— «Почему такое грустное лицо, дорогая!» — «Madame, не огорчайте нас видом вашей печали, разрешите разделить ее, если не отвлечь». Моя толстуха растолкала этих людей: — «В чем дело, маленькая?» — «Король не отпускает меня», — сказала я, глотая слезы.

В результате — обо мне говорят, что я опасная женщина.

Как я одинока вдали от Вас, моя умная, чистая, прекрасная!

* * *

Король болен, он не покидает своих комнат, ослаб; впрочем, ничего опасного. — Милая, какое несказанное облегчение я испытываю, — пусть временное, но тем более блаженное.

Сегодня мы катались в великолепных аллеях Этанг — я, дети и сестренка. Адель так вертелась в экипаже, — так старалась поймать ветку платана — и непременно с колючим шариком, маленький шевалье хохотал и хлопал в ладоши, а моя молчаливая девочка смотрела на все такими нежными и счастливыми глазенками! — Я переживала упоение, восторг, каких не запомню с детства. Я давала волю своей голове и шее, отягченным прической с большими розанами, свободно

качаться в такт толчкам экипажа; я смотрела на свой зонтик, сквозь который сияло небо и солнце, струились отражения ветвей, — воздух благоухал невыразимо. — Сверх всего я вообразила, что влюблена в Лакордьера, — подумайте, какая глупость! Но я воображала его огромные плечи, его изборожденный гневный лоб и умные, властные глаза и повторяла тихонько с упоением: — Франсуа, Франсуа...

* * *

Мы все гадки, разумеется, жадны и ничтожны; но что Вы хотите, дорогая: нас так воспитали. Если бы меня с первых лет жизни учили ничего не иметь, т. е. довольствоваться наименьшим, и отдавать все, что я могла бы иметь или приобресть, я бы, может быть, впоследствии иначе и не умела бы поступать. Но нас учат любить все свое и стараться все лучшее сделать своим, не правда ли? — Священники советуют нам уступать коечто из своего бедным, но только лишь ввиду другого рода выгод и т. д.

И теперь! — Нет, я понимаю, что из десятины ничего не вышло, я понимаю.

Мое серебро с розами, венками, выпуклыми пейзажами — мне тоже жалко ужасно, — говорю прямо, — ужасно жалко! — Если хотят уравнять собственность, к чему тогда искусство! — Оно

окажется никому не по средствам, — и никто не не захочет им заниматься...

* * *

Видела Вандома. Боже! — Его вели двое по коридору, стараясь заслонить принца от любопытных; король запретил ему показываться дамам. Я имела несчастье, не предупрежденная, увидеть его. Представьте лицо, покрытое кровяными грибами, безносое, проеденное болезнью до зубов — и улыбающееся! У меня захолонуло сердце, я поклонилась молча и опуская глаза.

— Хорошо меня отделали, madame? — сказал он.

И это священная кровь и плоть короля!

Мне не жаль этого человека, — он смеется и живет попрежнему; вокруг него люди, которые даже перед этой чудовищной маской разложения изощряются в комплиментах; они готовы целовать его ноги (ноги с отвалившимися пальцами!), так как думают, что им предназначено попрать ступени трона.

Неужели мы доживем до этого! — И что такое тогда — трон Франции!

* * *

Милая, Лакордьер — ко мне приехал. Он сошел с ума. Он вошел с красным лицом и горящими

глазами. — «Madame, — сказал он, не кланяясь, — помогите мне! — Король погубит Францию, он разорил ее. — Франция погибает. Казна пуста, ее нет больше; ее бумаги годны разве на оклеивание прихожих; во что превращен народ, если бы вы знали! Его нет, — народа. Скоро не будет и Франции, имя ее станет ничем. Маркиза, вы слышите меня?!» — закричал он.

Я поняла, что ему нужно говорить. Я подвинула ему кресло и сама усадила его, я села возле и слушала, положив руку на отворот его рукава; кружева рубашки были раздерганы и порваны. Он говорил два часа. Жалость и удивление перед этим человеком возрастала во мне по мере его рассказа, — так он был прост, велик, самоотвержен, страстен. Это человек, Жанн! — Я сидела и плакала перед ним, мне хотелось обнять его. Он кончил и молчал, нагнув голову и глядя перед собой; глаза его были полны образов им рассказанного; в них были пламя, стон, страдание, была Франция, Франция, Франция.

Я сказала шопотом, так как в горле у меня щемило: — «Дорогой граф, что же вы хотите, чтобы я сделала?» — Он очнулся, взглянул на меня остро и стал ходить по комнате.

— Хочу, — заговорил он режущим тоном, — чтобы вы соединили ваши планы с моими. Я первый министр, опытен и силен и знаю, что нужно

делать, — знаю по складам от буквы до буквы! — Он сжал кулаки и поднял их к глазам.

— Вы ловки и вы, — король действительно заинтересован, — и вы — если не ошибаюсь — что с вами?

— Вы мой враг! — воскликнула я, — вы мой враг! — и расплакалась ужасно. Я тряслась и вскрикивала, хватала себя за грудь, за голову, ломала пальцы, — это было горе, отчаяние! Жанн, что мы такое? Почему так часто наша душа молчит перед самой собою и ждет потрясений, чтобы стать самой себе ясной? Лакордьер старался уверить меня, что я ошибаюсь, что он пришел именно с тем, чтобы заключить крепчайший союз, соединить в одно наши цели.—Умоляю вас, молчите! — кричала я:— не уничтожайте меня!—и, упав в подушки дивана, дрожа как в жесточайшей лихорадке, я старалась заглушить свои пронзительные крики.

Он замолчал, прошелся по комнате, потом сказал с неудовольствием: — «В чем дело? Перестаньте же. Маркиза!» — Закрывая лицо и заикаясь от слез, я сказала ему: — «Не смейте меня презирать! Не смейте говорить мне о короле!»

— Я знаю, что он увлечен, маркиза, — сказал Лакордьер сердито, — в чем же дело? — И знаю историю с беседкой. Он нетерпелив и вечно о вас расспрашивает; что вам еще нужно? — в его возрасте! — Так как же, маркиза? Мы будем от-

личные союзники. Как только вы успокоитесь, я объясню вам мои планы.

— Уходите, — пробормотала я, теряя силы, — вы убиваете меня! — и пошатнулась.

Он бросился ко мне. — «У вас синие губы, маркиза, — сказал он,—где ваша соль?» — «Не говорите о короле», — пробормотала я. — «К чорту, — сказал он, — никакого короля нет, — не вздумайте умирать, маркиза». — Он глядел, нахмурясь, на мое лицо и сжимал мне пальцы. У меня все задрожало в груди:— «Франсуа,— прошептала я,—как все это ужасно! —«Ну да, это ужасно», —сказал он, и мы поцеловались.

* * *

Он приходит ко мне и говорит, говорит, говорит. Он спорит с королем, набрасывается на своих противников, уничтожает их; пусть иезуиты идут служить к сатане. Когда кончатся войны? Во сколько смертей обходится королю его петушиный гребень победителя? где хлеб? где золото? Люди превращены в волков и злобных свиней, — он садится верхом на стул, и смотрит гневно и сосредоточенно в пространство. Я подхожу, надеваю на его руки моток шелка, стою перед ним и мотаю свой клубок. Я поправляю его пальцы, задаю вопросы, мотаю. — Милая, я теперь знаю несколько спо-

собов спасти нашу бедную Францию, — но король не хочет знать ни одного. —«Он слишком жирен для этого, старый кот», — говорит Лакордьер. Ах, иногда он провирается передо мной ужасными словами, тогда я роняю клубок, и в поисках за ним Лакордьер ползает по полу и заодно уж просит прощенья.

Жанн, не говорите никому, но я обожаю Лакордьера, люблю его больше своих детей, восхищаюсь им, как господом богом. Все это ужасно.

* * *

Итак, — в один из праздников я отправилась с утра в имение — без детей, — Лакордьер меня сопровождал. Было жарко, листья стали желты и красны и воздух казался насыщенным тоской. Я была горько взволнована осенью, горячим воздухом и близостью дорогого человека. Он был красиво одет, и его черный парик был в совершенном порядке. Сначала он молчал, додумывая до конца свои дела и мысли, потом поставил точку, улыбнулся, снял шляпу и стал обмахиваться ею. —«Душно, маркиза», — сказал он. Я была немного нетерпелива из-за его невнимания. Наконец, мы взглянули друг на друга, и он круто ко мне повернулся: — «Бог мой, как вы сегодня восхитительны! — сказал он: — с вашим умом иметь лицо

девочки, хитрого ангела!» — «Я не так стара, граф, — сказала я, — но сидите смирно». — «Это невозможно, маркиза; вообще, что у вас в голове, что вы везете меня в свое деревенское уединение!— Но ощущение слабости охватило меня; я рассмеялась, испугалась своего смеха и рассердилась; он обнял меня, я оттолкнула его руки. — «Я не король, не правда ли?» — сказал он. Я отвернулась и заплакала. — «Ну, простите, моя маленькая, дорогая», — сказал он. Мы помирились.

Мы приехали, завтракали; мои люди спрашивали, когда же вернется маркиз, хорошо ли он воюет?— «Вот спросите господина министра»,— говорила я им. Г-н министр восхищался доверчивым тоном моей прислуги, простотой моего маленького замка, нашим темным сладким вином, прекрасным вечером и мною.

— Знаете, что было потом? — Лакордьер играл.

Он посмотрел ноты, помахал пальцами перед носом, сел, подумал, и сыграл — решительно, страстно, необыкновенно!

Сердце мое буквально не вмещало удивления и нежности.

Мы пошли гулять; это был рай. Мои аллеи развернули перед нами все свои богатства: эта были залы красные с чернотой, с зеленью, с золотом, коридоры тесные, полные отцветающих розо-

вых цветочных кистей, суживались, приближая нас друг к другу. Ниши принимали нас, виноград висел с их стен, мягкие скамьи, бархатный дерн распростирались перед нами. И все это пахло плодами, последним цветом, острым соком листвы, водами прудов. Мы шли все дальше, было тепло, я чувствовала страх, головокружение. Наконец, мы дошли до маленького мрачного пруда, вокруг которого лежали обломки белых ваз, карнизов, отбитые хвосты мраморных дельфинов, пухлая коленка амура, алебастровый локон, полукруглый кусок колонны, — все это вросшее в грунт, закрытое ветвями кустов, плющем и сыро и таинственно пахнущее высоким «не тронь меня».

Дойдя до скамьи с отвалившимся краем, я села, — он сел также, но тотчас же встал и отошел к пруду. Я не знала, что с собой делать, горло сжималось, шнуровка давила невыносимо, лицо горело. — Я не знала, куда глядеть, куда деть руки, мне было стыдно. — «Ну, что ж, маркиза, — пойдемте назад», — сказал он грустным, упрямым голосом. И вдруг я восклицаю: — «Боже, как глупо! — и, подхваченная каким-то ураганом, говорю: — Почему мне не сказать, что я вас люблю, — мало того, я обожаю вас, я влюблена в вас смертельно — но разве это что-нибудь значит! Ах, какие глупости, какие глупости! Не молчите, — иначе я заплачу!» Он поднял меня

на руки и понес. Вершины деревьев плыли надо мной, небо качалось меж их ветвей; большая голова в черном парике заслоняла его.

Не знаю, долго ли он носил меня по саду; это было сладкое умирание среди пахучих туй, миртов, гелиотропов и тубероз, на руках и у сердца того, кто был единственным богом для меня в эти минуты.

Пошел дождь, граф вошел со мной в зеленую нишу, сел на скамью и качал меня на коленях. Он посмотрел на меня вопросительным взглядом, от которого ужас и страсть пронизали меня до костей. Я отстранилась. — «Дорогая, — сказал он тихо:—вы сделали ошибку, не знаю, можно ли еще ее исправить».—«О! какие глупости, какие глупости!»—сказала я опять, но шум и плеск дождя заглушил мои слова. Граф целовал меня. Дрожа в испуге, я гладила умоляюще его лицо, плечи, прижимала к щекам его руки. Наконец, я опустилась на колени и подняла к нему руки:—«Франсуа, друг мой!» — Тогда он поднялся, постоял, держась за голову, и вышел.

Потом за мной пришли слуги с плащом и носилками, которые он прислал из замка.

Переодевшись, я спустилась к обеду; аббат, управляющий и один из соседей обедали с нами.

Аббат, — человек очень нежный, миниатюрный и смешливый, несмотря на свои 40 лет, —

почувствовал обожание к огромной и стремительной особе Лакордьера и хохотал от одного предчувствия его шуток. Сосед был несколько напряжен от страха проявить несветскость, двигал бровями и с азартом спешил согласиться со всяким мнением министра. Погода прояснялась; бледное небо смотрело к нам в комнаты, вечерело. Открыли окно; сырое тепло с тысячью деревенских зеленых запахов ворвалось к нам; на мгновение все присмирели. Подали вино. Зажгли свечи. Граф визави меня развеселился чрезвычайно; он смотрел на меня с таким восторженным задором, как будто ничего тягостного меж нами не произошло: эта неисчерпаемая натура нашла выход своей страстности в какой-то новой мысли, чрезвычайно занимавшей его ум; я тотчас же это почувствовала и была разочарована, — я ожидала подавленности, тяжелых взглядов, заранее всем этим наслаждаясь. Когда я почувствовала под столом прикосновение его ноги, я рассердилась и толкнула его, — он расхохотался и тотчас рассказал великолепный анекдот. Он стал играть танцы, чем восхитил аббата до слез, — и требовал, чтобы мы танцовали. Потом он вскочил, аббат заиграл на флейте менуэт.

— Нет, нет, — с господином министром я не танцую, — сказала я: — это слишком ужасно!

Лакордьер хохотал. — Я боялась, что этот человек, еле дышавший от восторга, не сдержав своего безумия, бросится мне в объятия при всех.

Еще было не поздно, но я извинилась усталостью, приказала подать еще вина, усадила мужчин за карты и взяла с них слово, что они будут еще долго играть.

Наконец, я была у себя: меня раздели, я выслала служанку. Лежать было невыразимо приятно, в комнате, немного сырой, было темно и не тепло; я улыбалась, обнимая подушки, в теле похрустывало и ныло. Когда я стала засыпать и как бы повисла, качаясь, между неверной жизнью и неведомой, нежащею глубиной, открылась дверь и вошел министр. Он запер дверь; усталая от воздуха, волнения и вина я не очнулась сразу и не почувствовала испуга. Напротив, не просыпаясь, я подумала: это хорошо; я забыла запереть дверь, теперь он это сделал. Он нагнулся надо мной и засмеялся, и я поняла внезапно, что он был прав, что иначе нельзя. Он поцеловал меня в губы и шею и прошептал: — «Ах, какие глупости!» — Я не могла говорить, я выпростала руки и обняла его голову, но он высвободился, потому что также хотел меня обнять, я старалась поцеловать и разглядеть его лицо в полутьме, освещенной мельканием свечи, стоявшей в тазу; я так любила себя в эту минуту из-за него: мало

того, мне казалось, что я в дар от него принимала жизнь, ибо во мне рождалась новая душа. Я дрожала, сырость охватывала меня. — «Мне холодно, ваша светлость», — сказала я тихонько. Он покрыл меня, поцеловал и стал раздеваться. Это было все же невыносимо, и я засунула голову под подушки. Тотчас же я как бы заснула опять. Прошла минута, я очнулась, как от толчка, и вскочила; комната была темно-оранжевого цвета, и стены ее струились и дрожали, — большое окно, казалось, пылало; графа не было в комнате.

Я схватила плащ, скользнула в туфли и вскарабкалась на высокое окно. Огромное пламя поднималось из-под холма, на котором расположен наш парк, — и дым мешался с туманом.

Едва я дотронулась до звонка, как в спальню ворвались четыре женщины и мой старик. Женщины дрожали и причитали, одевая меня. Горели фермы под холмом; к счастью, скот на ночь не возвращался в стойла, а жилья огонь еще не успел достичь.

Граф был на пожаре.

Меня одели и понесли вниз по узкой аллее. Мокрая дорога блестела отсветами пламени; из-за деревьев вставали тучи дыма, оранжевый туман колыхался. Выйдя за ворота парка, мои люди остановились; моросил дождь, земля стала жидкой и скользкой; меня взяли на руки двое и пошли

еще вперед. Крики и шум пламени, падений и взрывов, и жар, и трепетания огня неслись навстречу и были страшны; среди утвари, вынесенной из домов, в мокрой траве, стояла кровать, на ней сидела седая женщина и утомленно и злобно зевала; где-то исступленно кричала курица; в стороне лежали бревна и тлели розовыми алмазами; кругом деревья казались поседевшими, а небо над огнем сапфировым, на некоторых из ближних деревьев роскошно алели гроздья рябины. Я видела как бы новый мир. — Я велела нести себя в сторону реки; здесь увидела я цепь людей, передававших друг другу ведра; на фоне дико играющего пламени они казались черными и малоподвижными и производили впечатление слабых, утомленных отчаяньем. С другого конца горящих зданий примчалась верхом огромная фигура, олицетворение неистовства, — он набросился на стоявших людей, он кричал, звал — люди зашевелились, — кто-то получил пощечину и бросился бежать; через минуту он привел новую толпу, и двойная, тройная цепь людей были образованы возле первой; шипение и плеск усилились: всадник бешено крутил свою лошадь, скача к реке и от реки обратно к пожару, исчезал и возвращался мгновенно, кричал хриплым, гневным, неистовым голосом; — это был граф, — он был среди своего народа, — и этот народ я увидела и впервые

поняла, как особый мир, отличную от нашей жизнь, — увидев их при свете пламени, с жестокой тупостью танцующего в развалинах их стен над разрушенною их кровлей.

Пожар потухал. Я велела согреть вина и ждала графа в гостиной. Он вошел, не видя меня. Он сел в углу и прикрыл лицо руками: с ним был припадок судорог. Я попробовала дать ему теплого вина, и он, держась за мою руку, вздрагивая и гримасничая, выпил большую чашку. Казалось, это его успокоило, он положил голову на стол и не двигался; я тихонько вышла и послала к нему моего старика. Утром, когда я проснулась, мне сказали, что за графом прислано было из Версаля, что граф уехал рано и казался здоровым.

* * *

Я не посылала вам этого письма, у меня были сомнения, — сомнения мои продолжаются, но я пишу дальше. — Я прожила два дня в Париже без малейших известий, мне было грустно невыразимо. Погода соответствовала моим чувствам; в саду все листья лежали на земле, и дождь, казалось, хотел вырыть им могилу.

Вчера вечером я была одна в маленькой гостиной, дети спали, я отослала спать Жизель, я боялась бессонницы; я не знала, за что при-

няться, глядела в камин, — обжигая пальцы, трогала фитили свеч и чувствовала себя одной в мире, полном осенью.

Все, что я могла последние дни — это ждать, — и это ожидание сковало меня.

Этот вечер сделал меня несчастной: что-то надорвалось и поникло во мне. Ни на мгновение я не задремала и только застывала все больше и больше.

Пробило час, когда дверь позади меня шевельнулась, я подумала, что это привидение, и обернулась со спокойным ужасом. Это был Лакордьер. Он был возбужден до крайности, до безумия. — «Мир заключен, — сказал он глухим напряженным голосом — и опять: — мир заключен, маркиза, мир заключен!» — Казалось, он не верил смыслу этих слов и повторял их, чтобы вновь и вновь поразить радостью свое сердце. — Я всплеснула руками, прижала их к сердцу и глядела на него; — он не выдержал, упал к моим ногам и разрыдался.

* * *

Жанн, я не знаю, пошлю ли вам это письмо, и поэтому пишу все. Случилось то, что должно было случиться, я стала возлюбленной Лакордьера. Он увез меня к себе на другой же день. — Вы не узнаете меня, Жанн? Если бы Вы знали,

как я страдаю. Я исхудала, я пожелтела, как свечка, страсть и восхищение к этому человеку, раскаяние, вина перед детьми (о муже я не смею думать!) изнуряют меня.

Жанн, когда он уехал от меня к королю в первое утро, и я осталась одна, я глядела в окно и не понимала: что за город вижу — черные вышки дворца, башня над рекой, здания, подобные храмам и крепостям? Я не могла себя уверить, что это Париж, что у меня двое детей, что где-то мой дом, что мое тело не родилось впервые сегодня, я не могла вспомнить, что значит слово Иисус. Я думала: «в мире существует лишь эта комната и твое сердце, Франсуа».

Жанн, если умирают от любви, это будет со мной, я не вмещаю ее больше, она невыносима. О том, как счастлив он, я не смею говорить. Иногда я испытываю ужас, чувство близости смерти, казни моей души. Мой мир потрясен; эта любовь не счастье, я украла ее у ангелов, я погибаю.

* * *

Дома еще ничто не обнаружено; я возвращаюсь как бы из Венсенн или Шантильи, где я отдыхаю от хозяйства. Исидор прислал нежное письмо. Через две недели мы увидимся. Он очень подчеркивает свою верность, — должно быть, она дорого

ему досталась, но я ему верю. Это самый правдивый в мире человек.

* * *

Вчера король поздравлял меня с возвращением мужа; я ответила, — что мудрость его величества, повелевшая войне прекратиться, многих подарит счастливейшими минутами свидания с любимыми и восстановит спокойствие и благосостояние страны. Это было необдуманно, король нахмурился, — как бы вспомнив неприятную мысль. Я попробовала пошутить, он улыбнулся, но вздохнул и стал жаловаться на нездоровье.

* * *

При дворе волнения и перемены. Два дня не видела графа.

* * *

Он закололся шпагой.

* * *

Он закололся шпагой. Нет никакой записки, — никто ничего не говорит.

* * *

Я схожу с ума. Жанн, приезжайте, я посылаю Вам все написанное. Спасите меня.

Меня пустили к его гробу, — в холодной церкви, — где никого, кроме стражи. — Боже мой, Франсуа, — сказала я громко, — я думала, что он ответит мне: — он лежал огромный, — лицо застыло, *стало вещью*, — но глаза в нем были открытые и сияли веселым ужасом.

Я засмеялась, меня вынесли из церкви.

Спасите меня.

* * *

Спасите меня. Вот его письмо. Спасите меня.

* * *

«Со мною кончено, дорогая маркиза, меня больше нет. Я годился только на своем месте, я лишен его и больше не годен ни на что. Я не могу поступить на службу к Вильгельму Оранскому или заняться огородничеством в Провансе. Я родился правителем и патриотом (редкое сочетание, клянусь богом!) и я мог бы помочь этой несчастной стране, я многое сберег бы для нее. Но сверх всех своих несчастий, она имеет короля и целую династию батардов и паразитов.

«Я предвижу все концы, все следствия, — не хочу говорить о тысяче разновидностей позора...— Ах, маркиза! Я терпел, терпел до судорог и истощения. Ждать, — землетрясения, серного дождя? Что может разбудить труп! — Я хотел этого. Чудес не бывает или — я не чудотворец.

, «Заключение мира вскружило мне голову, я целовал ноги короля... честное слово — у него было сконфуженное лицо! Теперь только я понял всю глубину его ненависти ко мне. Ах, я мешал ему быть королем, — он — король! — этот манекен для модисток и парикмахеров, актер на роли благородных отцов, жирное животное, старый бездельник, — Ваш любовник, маркиза. — Меня привели к его двери, — он говорил с военным министром; меня держали двое моих друзей, чтобы я не ушел и слушал. Министр рекомендовал ему полумеры. — «Ах, все равно, Лакордьер будет приставать ко мне решительно со всем, что его не касается!» Министр, тупой, но честный человек, заговорил об интересах страны. — Ах, наплевать! королю надоела эта скверная наглая рожа! — Лакордьер третирует всех канальями, он кричит на короля! — К чорту Лакордьера, и пусть Франция расползается по ниткам. Пусть, дорогая маркиза. — Сохраните мои мемуары, не издавайте их, пока есть опасность, что их сожгут. — Дорогая, ни слова о Вас? Подождите. Я знаю, что женщине нужна реликвия определенного свойства: не знак, но документ любви; не просмотрите ли Вы бегло эти листки, пока не удостоверитесь в наличности любовных клятв, — и тогда только начнете вчитываться... Я обижаю Вас, маленькая, дорогая? Это на-

рочно, — я так любил это делать и сейчас вижу Ваш коротенький нежный рот, который становится еще меньше от желания скрыть обиду, глаза моргают, стряхивая слезы, и немного косят. Дорогая, как я хочу обнять Вас, поцеловать Ваше драгоценное, бьющееся маленькое сердце, взять его с собой. Крошка моя, Клеманс.

«Я Вас любил, действительно; единственным моим великим счастьем было заключение мира и Ваша близость. В эти дни я потерял голову, сердце во мне перевернулось, как оборотень из ворона в голубя, во мне родились надежды, блаженные, как в 15 лет; я недостаточно жесток к себе, чтобы говорить о них в эту минуту.

«Маркиза, Вы страдаете иногда головокружениями; избегайте их в присутствии коронованных особ. Маркиза, если король снова дотронется до Вас, вспомните, что это убийца Лакордьера и, может быть, Франции, — не будьте предателем друга и родины. Как видите, я стараюсь на всякий случай обезопасить себя от загробной ревности и ради этого впадаю в пафос. Боже, я готов болтать вздор без конца, лишь бы не отрываться от Вас, крошка моя, от Вас, только от Вас. Прощайте, Клеманс. Ваш Франсуа Лакордьер.

P. S. Постарайтесь мужа своего сделать первым министром и не забудьте тогда о Франции».

ПОВЕСТЬ О КОРОЛЕ КВАДРАТНОЙ РЕСПУБЛИКИ.

I.

Я много раз передумал всю эту историю с начала до конца, и вижу, что так и должно было случиться, как это случилось. Тот, кто родится в чужой стране, приносит с собой одиночество, тревожное пламя, постоянную стремительность; и знает с детства чужую речь и не знает родной своей речи; но кровь его, самая кровь говорит иначе, чем люди, среди которых он вырос. Он ищет дружбы — находит; ищет любви и находит; ищет равенства, блистательной откровенности, последнего праздничного слова правды, смеющейся и всегда воинственной близости с людьми, друзьями, народом, всею страной, — и этого слова он не находит? Ложь! — Мне не ответили; мне не ответили в нужный час. Я не хотел подсказывать **этого** слова. Друзья мои! люди Квадратной страны: Андерс, Альтер, Вирте, Копф и вся тор-

говая площадь, речная пристань и взморье, разве вы недостаточно знали меня! Я подарил вам себя, я, чужак и ваш первый любимец, подарил со всеми моими потрохами, со всем, что варилось в башке; не вы ли обо мне говорили: вот это башка! Вот это голова — это Фрице. Для чего же все это было! — Вы слопали эту башку, вы, тумбы, булыжники, вы сели на эту голову; уж лучше бы вы ее разломали, как дети, чтоб увидеть, что̀ в ней у Фридриха для вас варилось. Лентяи!

«О, Фридрих — это да! Фридрих есть Фридрих!» — Мало вам слов было послано от господа, а я их умел понимать, ваши две дюжины слов! А на вас я истратил слов не меньше двенадцати тысяч и самых отборных, и вы их глотали, жевали и сосали, как леденец, и были они вам так вкусны, и столько я вас радовал и восторгал, что взяли вы меня однажды, одели как куколку, дурачье квадратное, и сунули под стеклянный колпак. Восемь лет просидел — и всему конец. Я забыл о свободном дыханьи, ко мне вползали лишь гады и жалили меня, одиночество заледенило мне мозг; а вы, по мне скучая, мною любовались, мною, сидящим под колпаком, говорили: «Вот он Фридрих, теперь уж он наш, не уйдет» — и так до конца и не знали, чурбаны, что все лучшее у нас и меня самого вы прикончили сами, по собственной дурости, люди!

«Растолковать!» — самим бы вам до всего дойти бычьими вашими лбами, — самим, дорогие мои! Квадратные братья, булыжники, прощайте навек, незабвенные друзья!

* * *

Женщина проходила, странствуя песками Квадратной страны и в странствии родила меня, Фридриха Безродного, и умерла. И я остался на чужой земле, пропитанной приливами чужого моря.

Старый учитель, воспитавший меня, говорил мне всегда: Фриц, Фриц, подольше подумай, прежде чем начинать, не бросайся вниз головой во всякое дело, будь терпелив хоть немного. Ты достукаешься до чего-нибудь. Это «вниз головой» — так оно и осталось.

Но, боже мой, как дрожали мои щеки от усилий сдержать блаженные улыбки, когда старик меня хвалил! Я брался с завистливой жадностью за труднейшее, я торопился хорошо сделать все, что другими сделано плохо. Я всегда торопился, и старый мой воспитатель ни в чем за мной не поспевал. Прекрасный, чистый человек, он умер раньше, чем я должным образом полюбил его.

Роковой поворот моей судьбы обозначается с того момента, когда, лишившись единственного

и близкого друга, я попадаю благодаря его репутации и высокому уровню приобретенных мною знаний в юридическую школу. Это был рассадник молодых честолюбивых умов, предназначенных к замещению правительственных должностей и к представительству при дворах иностранных. Весьма замечательно, что в республике Квадратных подобные должности подолгу оставались вакантными, страна не рождала правителей; и даже сам президент республики, человек редкого ума, был родом испанец. Этот величайший несчастливец впоследствии стал причиною всех моих бедствий.

В то время, как мои товарищи пили праздничные широкие кружки вина и пива в тесных садах пригорода и обнимали девиц под цветущими желтым и приторным цветом кленами, я, как бы обреченный на некое безумие, скрываясь в чердачной каморке, жадными пальцами перелистывал хитрые книги, чтобы, их узнав, от них освободиться. И когда я понял, что ни одна мысль никогда не может быть высказана до конца без лжи или самообмана, я почувствовал веселое спокойствие и навсегда остался при своих собственных мыслях: мои мысли каждый день давали новый цвет и зрели вместе с моей жизнью. И если я жизнью не сумел доказать своей правоты, значит ли это, что я не был прав? Я не видел, чтобы

чья-нибудь жизнь или мысль когда-либо достигла полной зрелости, ибо и весь мир наш еще так незрел, не правда ли? — и люди Квадратной республики всегда казались мне самым поздним, едва всходившим людским посевом на земле.

Стоит рассказать о нашей дружбе с Квадратными. Я толкался всюду, чтобы встречаться с ними. Не знаю лучшего народа, но каждый из них был братски схож со всеми остальными. Торговая площадь, скамьи у заставы и таверна Дике Зупе чаще всего были местом наших дружеских встреч. Я сочинял для них плясовые песенки, и они топотали и пристукивали кружками в такт; рассказывал им о стране, какой нигде не было, и называл ее своей родиной; а они разевали рты и хлопали себя сверху по колпакам и слушали, сжимая себе ладонями щеки.

* * *

Положение президента испанца в стране было несколько странным, и с ним я вел особого рода игру: — всего лишь два десятилетия назад страна Квадратных оторвалась от древнего владычества Испании.

Президент, умный и холодный, каким я его знал, в сердце горячо был предан с детства старой метрополии, где в одном из кирпичных и зеленых испанских городков протекла его ранняя юность;

там доживала свой печальный век его мать в разлуке, в бедности и болезнях. Ради милых кустов родимых ветл, ради скворешников и крапивы родного пепелища, он и поддерживал отжившую партию воссоединения.

Незлобивый люд Квадратной республики не судил его строго. На торговых площадях под навесом харчевен шел мерный говор, урчанье глоток, сосущих пиво с прищелкиваньем недовольным языков: тц, ц, ц — испанская шерсть! тц, ц — много на рынке испанской пряжи: тц, ц!

Я приходил к ним, и они принимались галдеть:— Фридрих! Фрице! Хо, Фридрих!— и, грохоча, везли свои табуреты к моему столу. Тут восседал я, окруженный сиянием их щекастых улыбок; я говорил им: — люди, вот мои пять пальцев — каждый из них знает вещь, которая вам нужна.

— О! каждый по одной вещи — это пять вещей, да! — говорит молодой Копф, и все, захлебываясь, весело повторяют: «Пять вещей, эй, Бурштель, Андерс, Альтер — это пять вещей!» — и сияют любопытством. И я поднимаю связку нежных колбас над толпою.

— Бокслебервурстерле — раз, — говорю я.

— Бокслебервурстерле — это да! — повторяют веселым гвалтом разинутые радостью рты.

Я поднял кружку: «Белый пимцнербрей — это два с белой шапкой из пены. — «О, это два! Верно,

Фридрих! — Он говорит, а тебе пить хочется, вот как говорит Фридрих! Кружку Пимцнера, две кружки! и с шапкой из пены. Пару с шапкой за Фридриха! шапку долой за Фридриха!»

— Вас любят люди, сударь, — говорит мне Вирт, цедящий пиво.

— Слушайте — третье! Третье — это дом! Кладовая, кухня, спальня и детская — одно лучше другого.

— О! О! О! Это тонко сказано! — отвечают люди, расплываясь лукаво. — Вот кто умеет говорит, так это Фридрих. Это прямо-таки Фриц, а не Фридрих.

И вот мы поем все вместе:

Да здравствует наш дом
И все, что в нем,
Все, что кругом —
Наш дом, дом, дом!

— Вас любят люди, сударь, — повторяет Вирт, — а четвертое?

— Цеховые знамена и независимая родина, — говорю я, — вот четыре и пять — указательный и большой палец.

И вот они поднимают пальцы и торжественно гудят:

— О! О! О! — золотая глотка у Фридриха! — А я смеюсь, и они озадаченно стихают. А я смеюсь

прищурившись, я хохочу. Рты разинуты. И вот Андерс, рыжая куртка и красные скулы, встает и по столу бьет ладонью.

— Люди! Фридрих над нами смеется! Вот что, люди! — и хохочет. И я хохочу, смехом гремит таверна, бьют меня по плечам, толкают любовно в бока и говорят: — «Уж этот Фрице! Ох, Фридрих — это башка!» — и кто-то, подняв палец и рот раскрывши зубастый, о чем-то хочет спросить и слова найти не может и бьет себя по бокам. Так вот, лукаво веселясь, провожу я с ними часы и вижу, как прорастает в них разум, ищет слова спросить о важном — и не находит. Посмотрим.

Какие счастливые дни! Святая веселость безумия! Не считал ли я себя чудотворцем? Нет, ничто не казалось мне чудом.

И если бы пришли в страну испанские войска и королева, мы с Альтером и Копфом и другими пошли бы их встретить, взяли бы их под руки, — Вирт — королеву, я — барабанщика и повели бы их под кленами предместья с хорошим разговором: — страна просторна и незастроена, — и они бы споткнулись навеки о нашу счастливую глупость, и кое-чему научились бы все мы друг у друга.

— Кто здесь кого и чему научил во всей этой истории? Вот увидим.

* * *

В столице Квадратных жила Катарина Хелль.

* * *

Я видел ее у президента; она стояла, касаясь стола концами пальцев, и смотрела на меня из-под тяжелых век. Она имела вид великолепного сторожевого пса. В ее присутствии длинное лицо президента темнело, движения его становились коротки, и весь он был скован мрачною и страстною осторожностью; дыхание его прерывалось, коричневые круги под глазами выражали скрытое мучение любви и страха. Что тут творилось?

Я кое-когда приходил к президенту и раньше. Мне казалось тогда, что плохо там, где меня нет. Я приходил к президенту и пытался неоднократно его чем-либо удивить. Кажется, я воображал, что этот испанец скучает. Я приносил ему кое-какие трактаты, несколько систем, отрицающих одна другую. Он недоумевал, все системы одинаково его раздражали (меня также), — это я и хотел ему доказать. Ему нужны были вне всяких систем только Испания, во-первых, и, во-вторых, Катарина Хелль. А мне?

Итак, Катарина Хелль! — Она из-под тяжелых век глядела мне в глаза взглядом мрачного владычества, и это мне не понравилось. Тут впервые мне не понравилось очень многое. Очевидно,

я не был лишен дара предчувствий. Я всунул обратно в портфель кипу моих трактатов и вышел с поклоном. — «Но, сударь», — сказал президент мне вдогонку, — а я из-за двери взглянул на даму и, сделав ей невероятную гримасу, дверь прихлопнул. Я не мало слышал от моих Квадратных относительно этой Катарины Хелль.

* * *

Был день лучезарный и белый, какие бывают весною в Квадратной республике. Самое небо в этой невиннейшей из стран казалось мне еще нерожденным; его голубизна не проступала из белого пуха паров и свет апреля был пронзительно светел, как снег. Вот в это утро Катарина Хелль взошла по лестнице моего чердака и предстала мне в виде великолепного розовощекого бедствия с холодными глазами.

Эта восхитительная дама пришла ко мне с доносом на президента. Она приволокла мне ворох вчерашних новостей с видом героини и пророчицы. Сверх того она имела намерение провозгласить меня освободителем республики и вождем восстания за независимость Квадратной страны.

Я сидел против нее за некрашенным дощатым столом, обдирал древесные заусенцы с его досок,

протертых моими локтями, и пытался пронзить ее страстными взорами.

Не дрогнув, она изложила мне положение вещей и представила свой план неотложных действий.

Во дворце президента готовятся к приему испанской королевской семьи. Договор о воссоединении будет подписан принцем Редегой, старшим племянником королевы; бессловесное стадо Квадратных было покорно предателю президенту и будет покорно испанским узурпаторам.

— Бессловесное стадо! — спросил я, и она на меня взглянула. — Вы меня восхищаете, сударыня, — сказал я, — прошу продолжать.

Катарина Хелль стоит на страже свободы, партия Катарины Хелль готовит восстание назавтра. Сбор возле ратуши после закрытия рынков. Я засмеялся. — «Что вы хотите сказать», — спросила она, я ответил: — «О, вы меня волнуете, сударыня» — и она продолжала: — «Арест президента в четыре часа пополудни». Тогда я вскричал и кинулся перед ней на колени. — «Что это, камрад?»— спросила она, краснея. — «Это восторг, Катарина, — ответил я и взял ее руки в свои: — освобождается место, это место будет моим». — «Президентское кресло?» — сказала она тихо. — «Нет, место на твоей груди!» — и я обнял ее, она промолчала, слегка потупившись. Какая вели-

колепная тварь! — Я принялся ее целовать, довольно осторожно, впрочем, и она слегка улыбнулась и сказала, передохнув:—«Помимо действия моей партии нужна поддержка толпы, для этого достаточно вашего имени вот здесь — и достала бумагу из-под выреза платья на груди, причем я вел себя в меру предосудительно; я взял бумагу: в ней были приказы о захвате арсеналов, пристаней и дворца. — «Вы появитесь на площади в час закрытия рынков», — сказала она и тронула рукой мою щеку; тогда я ударил по этой руке и в клочки разорвал бумагу.

— До свидания, — сказал я и, схвативши шляпу, помчался по лестнице вниз.

— Куда! Куда! — сказала она, растерявшись.

— К президенту, сударыня! — крикнул я и вынесся вон из дома.

* * *

— Президент! — сказал я, налетев на него с разбега, — немедленно прекратите ввоз испанского сырья в страну, — к чорту испанскую шерсть и пряжу! Остальное я беру на себя.

— В чем дело, сударь! — ответил он нетерпеливо, и тут я увидел, что был он одет в расшитое золотом платье, а в глубине его приемного зала помещена эстрада, крытая сукном, и на ней три золоченых кресла с испанскими гербами.

— Когда вы ждете этих испанцев? Нельзя ли их вернуть обратно, президент? — сказал я. В это мгновение грянула музыка вдали, напоминающая древнюю сарабанду. Старый Фридрих, слуга президента, появился в дверях, сияя умилением и сединами, и произнес: — «Господин президент, их высочества вступили в черту города». Президент хрипло ответил:— «Хорошо, идите»,—и продолжал смотреть на меня, не отрываясь.

— Когда вас завтра придут арестовать, — сказал я, и лицо его перекосилось мертвой улыбкой, — это будет после полудня — переоденьтесь, идите в таверну Дике Зупе, что на торговой площади, там вы найдете меня.

— Что вы хотите от меня, сударь? — сказал он, мертвея все больше.

— Хочу, чтоб вы сидели на вашем месте, — сказал я, — хочу, чтоб это кресло не опросталось, оно мне не нравится, очень.

— Что! почему! я не понял, — сказал он.

— Потому что вас повесят, а меня посадят сюда. То и другое насильно и незаслуженно, сударь.

Президент позвонил дважды, вошли двое жандармов, и вслед за ними сама Катарина Хелль.

— Арестовать, — произнес президент, кивнув в мою сторону. — «Друг мой, я головой отвечаю за этого человека», — сказала Катарина и положила

руку на плечо несчастного президента; он сделал знак, и жандармы вышли. Как эта дама была бела, умна и спокойна, она не снимала перчаток, ни одна прядь не отделилась из ясного слитка ее превосходных волос. Она продолжала: — «Фридрих Безродный — любимец Квадратных людей, они разнесли бы в щепы дом его заключения. Он не желает вам зла».

Она тонко вела свою игру, эта женщина: я оскорбил ее — вот она избавляет меня от тюрьмы; я предал ее — и вот она выражает мне совершенное свое доверие; какой глубиной низости надо обладать, поступая столь великодушно! Я мерил ее свирепыми взглядами, ибо, будучи мне отвратительна, она в то же время мне нравилась. Она отвечала мне взором столь наглой кротости, что президент ревниво и мучительно содрогнулся. Бедняга имел вид затравленный и одичалый, его бескровное и смуглое лицо было запрокинуто в золотом высоком воротнике с выражением пытаемого на смерть преступника.

Тут под самыми окнами дворца грянул испанский оркестр и по лестнице, устланной тканями, дрыгая тонконого подобно трем чудовищным куклам, взошли трое принцев и брякнулись в кресла; вслед за ними зашелестели робы трех камерер, и в зал вползла лопоухая крошка с огромными круглыми собачьими глазами.

— Понимаете, нам пришлось взять с собой принцессу Паулету, суньте ее куда-нибудь, — сказал младший принц, и камереры зашипели.

Принцессе подали кресло, она запуталась в юбках и с тихим писком упала.

Старший принц Редега захохотал.

— Должно быть, у нее опять выскочили ноги из суставов, — сказал он, — воткните их на место, сеньора, и прекратите возню.

Паулета села и важно произнесла: — «Нет, они не выскочили, президент. Принцы, вы дураки. Кто будет разговаривать?»

— Ей сделалось недавно 14 лет, — сказал средний принц, одержимый тиками, — и подпрыгнул — и как только сделалось — кончено! — он икнул и заикнулся: — и вот она стала разговаривать, и все знает и разговаривает вечно. — И он замолчал, подпрыгивая и нервно икая.

— Во-первых, — сказала тогда Паулета, — где шоколад, который королева тетя прислала президенту?

Но тут двое младших принцев, зацепив друг друга шпорами, подрались и выхватили эспадроны. Их долго разнимали среди верещанья и возни. Паулета бранилась, охала и, подозвав меня, вцепилась в мою жилетку, требуя защиты. Наконец обоих принцев водворили обратно на

их места, где они и развалились, задрав ноги на ручки кресел и, задыхаясь, кончали перебранку в изнеможении.

Паулета пригладила мне брови, пощипала мне правое ухо и сказала:

— Президент, королева тетя говорила, что вы подарите ей все ваши корабли и города, и мне хотелось бы узнать, когда мы их получим! Может быть, сегодня уже поздно?

Тут поднялся визгливый хохот. Старший принц Редега опрокинулся в кресле и показывал длинным пальцем на Паулету, младшие кричали подражая ослу и поросенку, — это продолжалось, покамест не задохнулись все трое. Камереры пометались, пометались и замерли.

— Это государственная тайна, ты, лопух, — проскрипел, задыхаясь, средний принц.

— Ох, ох, ох, — сказал младший, — она идиотка, это всем известно, ее нельзя брать с собой в гости.

— Что я сказала такое! — воскликнула Паулета, и я ей ответил:

— Ваша тетя пошутила, принцесса; никто не дарит таких вещей чужим королевам.

— Разве? — сказала она и принялась рассматривать мою руку.

Президент дрожащими и белыми губами произнес:

— В наших игрушечных мастерских, принцесса, есть прекрасные корабли с флагами и целые города с белыми башнями и позолотой. Вы получите их в красивой коробке с большими лентами и сверх того живого карлика и говорящую птицу.

Редега ныл, не в силах больше смеяться, и тыкал свой гнусный палец в лицо президенту, а Паулета восхищенно сказала: — «Он очень добрый, правда? Только вместо карлика я хочу вот этого человека», — и обхватила цепкими лапками мою руку.

— Ох, на вас стоит посмотреть, президент, — заговорил, наконец, Редега, — она вас выдала при посторонних, ой, я умираю, да не могу же я больше смеяться, ой, ой, ой! Господа, вы не заметили, у президента нос пожелтел, это пахнет виселицей, дорогие сеньоры. Президент, арестуйте свидетелей немедленно и дайте мне апе-апель-апельсин. — Лекарства, идиот, я задыхаюсь! — крикнул он своему ментору, и тот немедленно влил ему в рот содержимое трех флаконов.

Президент наклонился и глухо произнес:

— Комнаты вашим высочествам приготовлены.

Все поднялись и с шорохом, шарканьем и стонами поволоклись вон из зала. — «Возьмите меня на руки, вы большой», — сказала мне Паулета и повисла на моем плече.

— Президент погиб, — шепнула мне Катарина, а принцесса громко сказала: — «Не смейте с ним го-

ворить никто, он только мой и больше ничей! Несите!» — и я отнес ее, и тотчас вернулся.

Тут я увидел, как Катарина, подобрав подол платья, спускалась по лестнице, а сверху президент следил за ней с видом человека, от которого уходит жизнь. Катарина была его возлюбленной и, отвернувшись, уходила от него в тот час, когда он был близок к крушению и агонии. Я засмеялся: эта дама спасалась медленным змеиным бегом, считая, что я должен был выдать ее президенту: между тем сказал ли я хоть слово намека на ее участие в заговоре. Но на лице ее была написана измена, и президент это понял по-своему; он обернулся на мой спокойный смех и с ревнивой ненавистью опустил глаза.

— Президент, — сказал я, — приготовьте назавтра плащ и маску и запомните название таверны: Дике Зупе, что на торговой площади. До завтра. — И вышел, и до утра не заходил домой, ибо не был уверен в том, что доблестная Катарина не поджидает меня в моей постели на чердаке.

* * *

С часу следующего дня я забрался в таверну и развлекал своих дорогих Квадратных добродушной болтовней об испанцах. Но косые складки лежали на лбах Андерса, Альтера и Копфа,

и хозяин таверны ворчал мне в ухо: — «У нас с президентом не ладно, народ собрался у южной заставы, сколочен с утра эшафот — для кого неизвестно».

— Для кого! Для предателя, да, — сказал Андерс.

— Кто такой предатель! — говорю я, а Копф отвечает: — «Президент нас продал Испании, Фрице. Готово дело».

— Вздор, — говорю я, — слыхали — испанская шерсть задержана нынче у границы! Испанская рыба отправлена вспять на шестистах испанских возах. На-завтра всю шерсть и всю рыбу на рынок! Испанских товаров не будет.

— О! О! О! — что тут поднялось.

— Ура, Фридрих! Фонарь вверх для Фридриха. Вот это да! вот это слово! Вот это сказал! Тогда Вирт осмелел и крикнул: — «Эй, Фриц, господин! А слыхал, кто плетет о предателях! Кто нашептал народу! Кто эшафот сколотил руками Квадратных! Ведь это она, Катарина Хелль».

— Ого, Катарина! — сказали люди; и я вышел вперед, подбоченился и запел:

Катарина достойна любой перины, —
Люблю Катарину — грешен!
Да некстати ей только язык привешен, —
Не слушай, камрад, Катарины.

— Перина-Катарина! — орали Квадратные, рыча от хохота, и замолкли, разинув веселее рты, когда я стал продолжать:

Катарина Хелль моя отрада,
Уста розовей черешен.
Камрад, люблю Катарину, грешен,
Только слушать ее не надо!

Я притоптывал и приплясывал, и люди плясали со мной, плясали испанскую сарабанду в честь Катарины, которую слушать не надо.

Тут вошел президент; в плаще и маске; он стал под сводом у большой бочки, и, продолжая пляску, я к нему подошел.

— Кто окружил дворец? Кто гонится за мной? Где Катарина? — спросил он.

— Терпение, президент, — сказал я, — через час все будет в порядке, народ водворит вас на прежнее место.

— Где Катарина?

Я не ответил.

— Испанцев схватили, — сказал президент, и я повторил: — «Через час все будет в порядке».

Он скинул маску; с желтизной черные глаза его горели упорством отчаянья:

— Помогите мне умереть, — сказал он и вынул шпагу из ножен.

И тут-то вломилось с площади гурьбой квадратное дурачье, волокущее на спинах испанских принцев и маленькую Паулету. — «Фридриху испанцев, — держи их, Фрице, получай, господин!» — голосила орава.

Они посадили принцев вокруг меня на бочки, Паулета тряслась, вцепившись в мои обшлага. Я молчал, и толпа вокруг меня замолчала, повесивши руки как плети.

— Ну, тумбы, ну, булыжники, ну, колпаки, — сказал я раздельно: — теперь конец. Я ухожу из вашей страны.

Вот это был тот час, когда произошло мое избрание.

Люди словно примерзли к месту одеревенелые. Потом пошел шорох, вздохи, рычанье, нытье.

— Скоты, уродовать детей! Прочь от меня! — сказал я громко.

Копф, Андерс, Альтер и Вирт кинулись с бранью на пришедших; медные их кулаки повисли в воздухе таверны.

— Стой, Фрице, стой, Фрице, ошибка! — орали восставшие: — стой! нельзя уходить! Альтер, Вирте, стань на места, стой! мы его не отпустим. Нам Катарина сказала, что Фридрих будет очень доволен нами. Катарина сказала, Фрице.

Тут грянули глотки, как трубы, смех гремел не смолкая добрых четверть часа.

Катарина достойна любой перины —
Не слушай, камрад, Катарины!

* * *

Восставшие Квадратные, счастливо ухмыляясь, по моей команде подняли испанских детей на носилки, чинно строясь, их окружили и, с почестью и мирно напевая, понесли их обратно во дворец. Я услал за ними и всех остальных, вплоть до Вирта, и в опустелой таверне прокрался в нишу, где возле огромной бочки был скрыт президент. Теперь ему следовало вернуться во дворец так же незаметно, как он оттуда ушел.

Я позвал его: молчание; я взял фонарь со стола и опустился возле тела, обмотанного черным плащом. Свет фонаря отразился в мертвых глазах президента.

* * *

И вот — наследство, оставленное мне мертвецом: одиночество.

Одиночество было названием диавола, убившего его. Одиночество с женщиной, предавшей его; одиночество в нелюбимой стране, которую предал он сам ради родимых кустов испанской

крапивы; здесь, куда я позвал его ради его спасения, одиночество настигло его последним ударом и здесь и навеки я принял его в наследство: в опустевшей таверне над прахом мертвеца диавол одиночества возложил мне руку на чело, и с одиночеством мы стали неразлучны. Все остальное — повесть моей с ним борьбы.

* * *

Мои дорогие, тупоголовые мудрецы, мои бедные Квадратные друзья, глупцы, мучители, враги! Они законопатили меня в президентское кресло. За то, что я знал их, за то, что мне было хорошо с ними, за то, что я радовал их добрым вздором и крепкой правдой — они сделали меня приказчиком республики, рыботорговцем и счетоводом.

Когда я был с ними — чего им еще не доставало? Добрее не знаю народа, правдивее, трудолюбивей и проще, любвеобильней.

Они запутались в словах, ибо одному они не смогли еще научиться: верным словом назвать нашу дружбу. И вот над трупом президента они меня провозглашают. Они мне дарят власть, дворец, кареты, золото, сады. «Мы его приоденем, как куколку». — «Тц, ц. Он носит штаны из нашей шерсти!» — «Фрице, хочешь быть королем?»

— О! король Фридрих! — они хлопают себя по коленям и заливаются счастливым смехом.

Конец. Мы перестали встречаться.

II.

Семь или восемь лет прошло с того вечера, и пять лет с тех пор, что Катарина была выслана в Северный монастырь, во второй год моей власти. Где бы ни зарождался заговор, кто бы ни восставал против меня, во всем я знал и чувствовал ее присутствие, лишенное ненависти, но постоянное и принципиальное. Сколько раз она сходилась со мной, исчезала и, внезапно появляясь, вновь завязывала отношения; и всякий раз я сознавал ее цель: обезвредить меня и, не рассчитывая подчинить, быть возможно ближе ко мне, чтобы проследить мои намерения и поступки. Ее присутствие волновало меня вдвойне, как близость сильной и соблазнительной любовницы и одновременно моего всегдашнего и крайнего врага и опасного шпиона. Но, только когда я убедился в ее решении покончить со мной, я решился на арест и ссылку, и Катарина не была ни слишком удивлена, ибо верила в мою проницательность, ни приведена в отчаянье, ибо не теряла надежд, а сверх того, надо сказать, не питая ко мне любви,

была сильно ко мне неравнодушна. Должен отметить, что это не помешало бы ей меня погубить, так как ответственность ее перед партией была так же велика, как и увлечение ее республиканскими идеями. Чтобы отделаться от меня, она избрала обыкновенный удобный способ. Заметив в ней возбужденность и болезненность, я начал следить за ней и старался облегчить ей исполнение ее планов, чтобы направить их в определенное русло. Конечно, она предпочитала избежать выстрелов и кровопролития, хотя и против этого я принял меры, что при нашей близости представлялось нетрудным. Мне становилось все веселее и тревожней по мере того, как я замечал, что намерение ее крепнет и превращается в определенный план. Мы завтракали всегда в моей комнате между альковом и письменным столом, от которого ключи постоянно были на мне. По ее просьбе никто нам не прислуживал, и завтрак состоял из холодного. Она всегда отлично владела собой, но плохо знала свое лицо, и часто, когда я ее ласкал, я наблюдал в нем борьбу опьянения с желанием, верней необходимостью, быть на-чеку.

К завтраку я всегда доставал все сам так же, как всегда сам раскупоривал и разливал вино, и ждал, когда, наконец, она решится и какой способ найдет ее изобретательность. В тот день она выдала себя страстностью и настойчивостью ласк

и тем, как она закрывала глаза, обнимая меня, причем веки крепко и надолго смыкались и трепетали; она всегда была сдержанна и никогда — чувствительна, я насторожился. Чтобы дать ей возможность насыпать яд, я вышел на минуту из комнаты, попросив ее разлить вино, прошел, стуча и шаркая ногами, и тотчас же неслышно вернулся к двери и заглянул в нее. Катарина, стоя, наливала вино в мой стакан, оправленный бронзой; в левой руке ее была зажата бумажка. Моя всегдашняя вражда к ней мгновенно обострилась до ненависти и отвращения: покушение на мою жизнь потрясло меня физически, а то, что это была женщина, постоянно дразнившая меня несимпатичной и как бы противоестественной своей мужественностью, превращало мое раздражение в ярость.

Я вошел с веселым говором, положил перед ней цветы и поцеловал ее в шею; мне хотелось истерзать ее. Я сел напротив нее и, придвинув свой стакан, рассказывал ей анекдот и смеялся; она сидела, откинувшись и замерев, не в силах улыбаться. Потом я приподнялся, сказал:

— Итак, — взял ложку и, как бы без всякой надобности, стал размешивать вино в стакане и, глядя на нее, посмеиваться; потом, молча, протянул ей стакан. Не сразу, но она поняла и, окаменев, смотрела на меня мрачно и сознательно

запавшими темными глазами. И когда я подал ей стакан, она подняла-было его к губам, но, подержав, поставила назад и опустила глаза; я смотрел на нее, дрожал и смеялся.

* * *

Я живу одиноко, но бываю в большом обществе, на вечерах, где принадлежишь всем и никому. Среди людей, работающих со мною, нет ни одного глупого, неспособного или не верящего в меня, как в провидение; но мои постоянные посетители и единственное интимное знакомство — племянники испанской королевы — идиоты и ничтожества, которые любят, боятся и презирают меня.

Никто не развлекает меня, как эти милые обезьяны, безобразные, изящные выродки, тупоумие и фантастичность которых меня постоянно восхищает: водяночные длинные черепа, окруженные черными локонами, длинные мягкие носы, мясистые подбородки и выпуклые, выдавленные наружу прекрасные тупые глаза; их четверо; сестре их скоро пятнадцать лет, и мне следовало бы на ней жениться.

Когда я к ним прихожу, один садится на стол, другой валится на ковер и ежеминутно подпрыгивает и хрюкает; третий ложится поперек моих колен и ручек кресла, — и начинается ужасаю-

щая болтовня каркающих картавых голосов. Нигде я не смеюсь, как у них, ибо в мелочах, в языке, в изящном, в изобретательности эти кретины неподражаемы, бессознательно гениальны. Они привязаны ко мне, как ни к кому, но, если бы им не было строжайше приказано уважать во мне старшего, опасного и необходимого человека, они третировали бы меня, как дядьку из солдат.

Потом, выпив шоколад с бисквитами, из-за которых они дерутся, двадцатилетние парни, — так как им много не дают, чтобы они не объедались, — мы идем в большой зал дворца и упражняемся на эспадронах и шпагах с каждым поочередно. Должен сказать, что лучшее в них — это их руки: когда, становясь со шпагою, они заносят вверх тончайшую левую кисть, то она напоминает, — не знаю, — гроздь белых глициний, акаций? — это ни с чем не сравнимо. Ноги у всех кривые, но прекрасной формы: с удлиненными суставами и тонкими икрами; если бы не их вихлявость и постоянные головокружения, мои испанцы были бы необычайно, сказочно грациозны.

На охоте они серьезны, возбуждены, края отвислых щек розовеют; то, как они держатся в седле и каким движением поднимают ружье, — доставляет мне бесконечное наслаждение. Только младший позволяет себе дурачества, — вытаскивает лорнет и в него разглядывает лес и пробе-

гающую дичь, виснет на седле, перекинув поперек него ногу, садится лошади на шею и без конца, с конфетой в беззубом рту, напевает куплеты и гримасничает. Братья бранят его и толкают, гувернер поддерживает его под мышки и умоляет о послушании именем покойной матери. Старший едет, упершись рукой в левое бедро, и вытягивает длинную шею; второй, наиболее предприимчивый, но бестолковый, рыскает кругом в кустах на своей прекрасной красноватой лошади и, смешно и важно выпячивая и съеживая толстую нижнюю губу, свищет собаке.

Вечером, когда мы возвращаемся к ужину, в огромной деревянной черной столовой, мерцающей позолотой рам, на парадном конце стола в высоких креслах с гербом, нас принимает герцогиня-сестра. Она очень похожа на маленькую шершавую собачку и важно нам кланяется, протягивая белую косточку руки для поцелуев. Прямые волосы ее достигают плеч и закрывают уши; большие черные глаза почти лишены белков, нос мал и придавлен, и щеки висят, что еще усугубляет ее сходство с безобразным породистым и грустным щенком.

Я ее очень люблю, в ее детской и болезненной глупости и важности есть истинно царственная прелесть. Движения ее медленны и величавы, она страшно мала ростом и поэтому почти всегда си-

дит; очаровательный юный уродец. Она плохо владеет языком страны, постоянно приплетая испанские и французские слова, называет меня Фредерико, ваше превосходительство, генерал. Тоном священной матроны, разглаживая мертвыми пальчиками толстый муар на игрушечных востреньких коленках, она рассказывает мне свои детские истории и глупости: о щеглятах, левретках, обезьяне и других своих придворных.

Она улыбается очень редко, радость свою обыкновенно выражает условным хлопаньем в ладоши и никогда не оживляется; но раз или два, когда я видел ее улыбку, я был потрясен и растроган: этот огромный рот, раскрывшись, изогнулся с таким жалобным счастьем, и тупые глаза пронизались таким глубоким сиянием и тоской, что мне пришла в голову сказка о великой и святой душе, изредка посещающей принадлежащее ей бедное полуживое тело.

* * *

Мне позволили жениться на этом крошечном лопоухом чудовище, мне бросили ее, как подачку дружественного трона, несколько обеспокоенного моей личностью; и только потому, что никто более приличный ее бы не взял. Кроме того, они будут спокойнее, зная наверное, что я останусь бездет-

ным. Милый маленький уродец, ради него отделывается старый красивый дворец, и в старом королевском саду строится павильон с дельфинами, — можете себе представить, друзья мои, как обрадован народ!

* * *

Был частный прием. Принимая, я обдумывал один новый план, который должен сделать меня очень популярным у черни, и был рассеян. Мне доложили о баронессе — не помню какой. Я сунул руки в карманы, подошел к ней, чтобы поскорей ее выпроводить, и по дороге позвонил. Она молчала. Вошел слуга.

— Красного вина и печенья, — сказал я; он поклонился и вышел. Я переступил и поправил монокль; женщина молчала.

— Итак, в чем дело, баронесса? — сказал я громко и чрезвычайно отвлеченно, чего всегда держался с женщинами, чтобы их обезопасить. — Итак?

Она подняла лицо и медленно трагически улыбнулась мне в глаза; да, улыбнулась насмешливо, жалобно, гордо и ужасно. И в это мгновение вялая, утомленная, мертвая моя душа, в единый миг налившись юностью, бешенством и восторгом, сделала львиный прыжок и обрушилась в бездну.

— Ты, ты! — сказал я, хватаясь за голову, голосом, близким к рыданью. И тотчас же, подняв выпавший монокль, отошел к столу, размял сведенные члены, движением шеи поправил воротник и сел, освобождая на столе место для подноса с графином и фруктами, которые с любовной почтительностью мне подал мой лакей и тезка Фридрих.

— Зачем фрукты? — спросил я, и он стал объяснять, наклонившись к моему уху, нежно и снисходительно. Я кивнул старику и подождал, пока он выйдет. Потом налил вина в поданный стакан и в другой, оправленный бронзой, всегда стоявший на моем столе. Катарина заметила и узнала этот стакан. Я попросил ее сесть, она отрицательно качнула головой, я заставил ее сесть в кресло и предложил ей вина, она отказалась.

— За мое здоровье! — сказал я страстно: — за мое здоровье — нет, нет! — Тогда я взял оправленный бронзой стакан и, подхватив ее под затылок, заставил выпить, повторяя: «за мое здоровье» над самым ее ухом. Все это ломанье унизило, испугало и измучило ее, она расплакалась гневно и утомленно.

— Отчего вы не постарели! — закричал я: — вам 34 года.

— 32, — сказала она, плача.

— Вас хорошо кормили на мой счет, и вы вышли замуж, — сказал я, гримасничая как обезьяна и бегая по комнате в припадке неистовой и злобной радости.

Она подняла глаза и подняла плечи, хотела сказать что-то презрительное и гневное и внезапно расхохоталась визгливо и тонко, подошла, обняла меня за шею и, смеясь, сказала:

— Фриц, Фриц! — Но я отклонился и, заложив на спину руки, быстро и опасливо отошел, горбясь и озираясь. Она стояла с дрожащей от рыданий грудью и смотрела перед собой искаженным и смеющимся лицом; потом быстро прошла мимо меня и вышла.

* * *

Перед тем, как нам обвенчаться с Паулетой, была объявлена амнистия всем срочным ссыльным, и это необъяснимо, но в ту минуту я не вспомнил о Катарине Хелль. Во мне проснулась душа. Стакан, обвитый гирляндою бронзовых роз, тоже еще имеет свою будущность. Посмотрим, что ему предстоит. Эту женщину я верну себе. Женщина. Я забыл, что это значит. Вокруг меня были куклы, игрушки, домашние твари. Я верну себе женщину. Я вновь обезумел... Счастлив ли я, безмерно ли несчастен? — дело не в этом. Во мне пламя.

* * *

— Паулета, Паулета, вы все еще спите? Вы можете спать целые недели! Вот вам фиалки, я повытащил их из вашего герба, теперь он совсем ощипанный, и еще кое-откуда...

— Только не из вашего вензеля, Фредерико! Нет?

— Немножко.

Она сморщивается, и я целую ее дряблые щечки.

— Я побью садовника, — говорит она, всхлипывая и сжимая сморщенные кулачки: — он не смеет позволять вам портить цветник.

— Нет, нет, я подразнил вас, разве я посмел бы; но я очень счастлив, маленькое мое животное.

Теперь она раскрывает большой беззубый рот и смеется; она делает это так, как будто смех причиняет ей невыразимые страдания.

— Ваше маленькое животное, — говорит она и обнимает мою голову с трагической страстностью, бедная моя старушка. — Где вы были? — через минуту говорит она деловито и разглаживает зеленое блестящее одеяло своей ручкой, сведенной и морщинистой, как у новорожденного ребенка; я смотрю на нее и думаю, как мало изменились ее лицо и фигурка за 16 лет со дня ее рождения, и повторяю машинально и нараспев:

— Где я был? где я был? — как она жалка и как мила мне, как хочется и как страшно ее

приласкать. — В представительном собрании, — говорю я.

— Ну, что ж, они согласились? — спрашивает она озабоченно; я в восторге от того, что она помнит наш разговор и от серьезности ее лица в эту минуту, и бросаюсь ее целовать.

* * *

Я получил письмо от Катарины, в котором она объясняет, что целью ее посещения была просьба о переводе ее мужа, который служит в Северном войске, в столицу. Она решается высказать эту просьбу письменно, так как не рассчитывает увидеть меня еще раз и т. д., и т. д. Я назначил ей свиданье на мельнице, по ту сторону реки, и приехал один в лодке. Я вбежал к ней в комнату и, плача и повторяя: «ты не отравишь, ты не вооружена, ненавидишь?», обнимал и целовал ее, как бешеный. Можно было подумать, что в этой женщине, всегда бывшей мне столь опасной и всегда втайне мною ненавидимой, я как бы обрел в эти минуты юность и родину, которых не знал никогда. Она также плакала и не сопротивлялась ласкам. Я был как в безумии.

— А барон? как же барон? — спрашивал я и хохотал; она закрывала глаза и отмалчивалась. Ах, эта женщина! — Я люблю тебя, — говорил я

в восторге, горло мое сжималось невыносимо. — Я ведь понимаю, что ты молчишь, — говорил я, не умолкая: — отравительница! Ну, благодари меня, благодари за жизнь! Но теперь берегись: меня любят ужасно, — если узнают, тебя разорвут на клочки. Ах, я бы сам разорвал тебя на клочки, если бы ты знала, что во мне: все пылает и все разорвано, ураган, лохмотья пламени. Я болтаю. Ты знаешь, сколько лет я молчал? Семь лет. Героиня! — восклицал я и целовал ее руки: — великая душа, ты меня любила, — и снова плакал.

— А я не герой, ты знаешь, — говорил я дальше, — я только почти король. Героизм — это истерия, — не правда ли? а я здоров и прекрасно работаю. Прекрасно, не правда ли? — я встал перед ней и держал ее за руки.

— Прекрасно, — сказала она серьезно и улыбаясь мне, как ребенку. — Ты хочешь стать королем? — спросила она тихо.

— Меньше всего, — сказал я и спохватился: — может быть, ты хочешь этого? — Она посмотрела на меня пристально и отчужденно и медленно покачала головой.

* * *

Темная чаша моей жизни поднята из тени и недвижности и вознесена к солнцу. Она коле-

блется и, тяжелая, сверкает полнотой, и брызги ее падают, как яркие звезды. Нет, это само солнце, плеща и блистая, свергается ко мне и на поверхности души плавает золотым кругом. Я хочу всего, и это уже счастие, каждое мое движение увеличивает наслаждение души. Хотеть — это величайшее, это все. Я развеселил моих испанских родственников до того, что они уже не могут сдержать своей любви и требуют, чтобы я был королем.

И с той же радостной жадностью я топчу пахучие лесные хвощи и темную траву, пробираясь к мельнице от этого песчаного и скрытого лозиной затона, где я оставил свою маленькую лодку. Катарина опаздывает. — Что ты делаешь? — говорю я ей страстно: — мне так некогда, так некогда, так некогда! — Я набрасываюсь на свое счастье, как хищное животное под угрозой выстрела, я задыхаюсь, я давлюсь своей добычей, я говорю, как маньяк, не замечаю, не хочу понять, что она отмалчивается. Я на вершине всех земных побед, ибо я желаю всеми человеческими желаниями.

— Ты разбудила во мне голод и жажду, честолюбие и жадность, Катарина, — говорю я: — любовь к природе, жалость и все человеческое. Почему? — но я не жду ответов. — Откуда это все, откуда? — повторяю и губами зажимаю ей рот.

* * *

— Вы вот что мне скажите, — говорит Паулета, — хорошо ли вы делаете, что ездите на мельницу?

Я, помертвев, становлюсь на колени у ее кресла.

— Конечно, хорошо, герцогиня, — говорю я.

— Конечно, хорошо? — переспрашивает она удивленно.

— На мельнице овечий сыр и кислое молоко,— что ж тут плохого? — Она удивлена и внимательно думает.

— Может быть, вас за это не сделают королем? — говорит она, вопросительно двигая безбровым большим лбом.

— Кто вам сказал?.. — начинаю я неосторожно, и она делает хитрое лицо и хлопает в ладоши:

— Вы отлично знаете, что этого нельзя спрашивать, вы хотите меня провести, — пищит она, восхищаясь своей сообразительностью. Я опускаю перед ней голову, не смея прислонить ее к хрупким больным коленям ребенка, моего ребенка; и чувствую, как старательно гладят и путают мне волосы птичьи, нежные, неживые лапки.

На другой день она присылает за мной из сада; ее колясочка, запряженная белым осленком, стоит посреди красной дорожки между стриженых

маленьких лип; я целую принцессу, она отсылает свою даму и берет меня за рукав.

— Фредерико, — шепчет она мне: — кислое молоко и кукурузный хлеб есть и дома, и лучше бы вы позаботились о том, чтобы у меня были дети; как вам это кажется?

— Бедный мой маленький зверь! — говорю я страстно, сжимая ее руки, — бедный мой больной щенок! — и я прошу ее рассказать, что она делала целое утро. Потом целую ее и мчусь с красным лицом во дворец.

— Позвать Фридриха, — кричу я лакею, набрасываясь на него с кулаками: — в кабинет! — Хорошо, что я изломал свою плеть, прежде чем вошел этот старый дурак. Я закричал на него так, что мгновенно охрип, и, продолжая кричать, бил себя обрывком плети по сапогу.

— Я вас повешу, идиот, — бесновался я, — не сметь трогать ребенка, проклятая тварь, и т. д.

Моя брань и угрозы были так ужасны; старик стоял, прижав руки к бокам, шея его тряслась, и он беззвучно рыдал.

— Вы хотите убить ее! — орал я, замахиваясь; он бросился обнимать мне ноги.

Я не повесил его и не сослал, но велел остаться при мне и как можно больше быть с герцогиней.

* * *

— Вам предложат корону?

— Непременно, — я смеюсь.

Она сидит на кровати, опустив лицо; что-то мужское и несимпатичное есть в ее молчании.

— Мало того, я приму ее, — говорю я злорадно. — Она молчит. — Я сделаю все для удовольствия народа и моей маленькой жены, — они будут в восторге.

— Вы никогда не были легкомысленны, Фридрих, — говорит она осторожно; ее затаенная мысль раздражает меня.

— Но вы делаете меня молодым и легкомысленным, Катарина. Кроме того, я заслужил маленькое развлечение. — Она молчит и своею подавленностью выдает себя. Я всплескиваю руками.

— Ну, что вам до этого, прекрасная женщина? — говорю я жестоко и чувствую, как старая ненависть подымает во мне голову.

Она сидела с опущенным, злым и сжатым лицом; между нами разверзлась пропасть, и чувство роковой неизбежности этого момента заставило нас тогда замолчать надолго. Наконец, она принудила себя заговорить:

— Вы развращаете народ, — сказала она, — и коронованием вы хотите завершить это развращение. Вы прикрываетесь бездетностью, но вы молоды и еще успеете создать династию. Через

год или два ваша принцесса умрет или впадет в окончательный идиотизм, что вам известно, и очень хорошо.

— Замолчи! — закричал я. — Убийца! Это ты убийца, а я клянусь тебе, что сохраню ее жизнь как величайшую драгоценность, потому что я обожаю этого ребенка.

— Вы! — сказала она, но опять замолчала, опуская глаза.

* * *

Они прислали мне корону из чистого золота и бумагу при ней, — в бумаге сказано: — «Пусть Фридрих примет — это от нас».

Я прочел знакомые имена внизу: Вирт, Андерс, Альтер, Копф и другие.

Вся боль вернулась ко мне, слезы горели под веками, горели сердце и желчь. Вот друзья мои, старые братья, прислали последний подарок.

Однажды восемь лет назад, когда мы пели вместе, они взяли меня на аркан, посадили в клетку, подарили мне власть и золото, откроили меня от себя и поклонились мне раз навсегда с почтительным молчанием и без улыбки. И я ушел, мы больше не могли встречаться. Так поступили они со мной.

Была ли в том их вина! Я сам смолчал: и глядя им в глаза, нашел ли я то слово, каким бы я расколдовал мертвое одиночество и пустыню, которым они меня обрекли?

Я сел у стола президента, покрытый позолотой, как гроб, — они остались вдали за стеной, жили, женились, мотали и били шерсть, только имя мое звучало на их торговых площадях, на пристани речной и у взморья.

Разве не их я любил восемь лет, и мог ли любить другое? Что было чище и проще, грубей и святее и глубже? Разве сердце Паулеты меня приковало чем иным, кроме странного сходства, родства детского, светлого сердца с детской душою друзей Квадратных?

И вот последний крест на гробу моем — их последний подарок, корона. Еще молчаливей поклоны, еще мертвее серьезность, теперь они хотят склониться передо мною, как перед трупом священным.

Ох, как меня потянуло на площадь, в вечернюю сырость! Вирте, Андерс!

Я не пошел никуда.

* * *

Я писал в кабинете, когда услышал около себя шорох и царапание, и оглянулся. Моя жена

стояла возле моего стула и, молча, делала реверансы.

— Здравствуйте, коротконожка, — сказал я весело, — в чем дело?

— Здравствуйте, ваше величество, — сказала она, задыхаясь от усилий сделать глубокий поклон, с серьезным видом. — Возьмите меня на руки, — сказала она: — я устала.

Я посадил ее к себе на колени и поцеловал.

— Я думаю, что нам необходим наследник, — сказала она решительно.

— Непременно, — ответил я, придерживая ее левой рукой и продолжая писать.

Она подождала, потом похлопала меня по щеке; я поцеловал ее руку и продолжал писать; она потолкала меня и сказала:

— Послушайте, ваше величество, король великой республики.

— Что? — сказал я, смеясь.

— Для этого надо принять меры, — она посмотрела на меня вопросительно. Внезапно меня охватила тоска и глубокая усталость, я откинулся на спинку стула и смотрел перед собой неподвижно. Она сначала теребила меня, потом принялась ласкать с такой женской нежностью и бессознательною страстью, что мне захотелось плакать.

— Бедный щеночек, кто тебя учит глупостям?— спросил я.

— Никто, — сказала она: — со мной даже боятся говорить, это я сама думаю.

«Идиоты хитры и чувственны, — говорила мне Катарина,— тебе не удастся обмануть ее до конца; и ей сумеют подсказать форму, в какой она потребует своих прав».

Как холодна эта женщина! Холодна, медлительна и опасна, как большой, красивый, медленный удав.

* * *

Зимой было совершено много прекрасного, выиграно блестящее дипломатическое сражение, перетасовано многое старое, выправлено все запущенное за многие годы, введены некоторые строгости, определенность во всем; результаты были скорые, и расчеты оправданы. Вообще в профессиональном отношении я сделал успехи; был полезен, очень полезен. Катарина уехала с сыном на север к барону, которого я окончательно не пожелал иметь в столице. Паулета хворала. К новому году приехали ее братья, а в апреле готовилось коронование. Вышивалось серебряное платье с золотыми букашками, ковались ларцы и малые и большие венцы и печати, монеты и медали, мое имя, не имевшее прошлого, вырезалось и инкру-

стировалось на всем, что только было драгоценнейшего.

Маленькую мою королеву я решил-было познакомить, наконец, со всеми радостями любви, но стоило дотронуться до нее, как она заболевала и становилась еще грустнее. Состояние ее глубоко тревожило и огорчало меня, и я не мог освободиться от чувства виновности перед ней, тем более тяжелой, что я болезненно и сильно ее любил, а она положительно умирала от страсти и восхищения передо мной.

* * *

И вот настал ужасный день, в который я потерял все. Весна сияла. Катарина приехала прямо ко мне во дворец; я принял ее в маленьком четырехугольном палисаднике с частой железной решеткой, которую запер собственноручно. Я был ей верен и горел от страсти; маленькая ее холодность или застенчивость, как всегда, возбуждала меня до бешенства, так как всегда, всегда самым сильным, самой основой моего чувства к ней была ненависть. Мы были окружены кустами белых лилий, злых и мертвых, как старые девы; земля была сыра и крепко, пряно пахла. Я почти разорвал ворот Катарины, спеша дотронуться до ее милой, восхитительной, горячей груди; а весна была ранняя, и плющ молод и светел на высокой железной

ограде. Только этой женщине я отдавался всецело, по сравнению с ней других не существовало. Она побледнела, когда я пламенно обнял ее, и высвободила правую руку; через мгновение я почувствовал острое царапание и влажную теплоту на шее и, тотчас же поняв, стал щекотать и яростно душить ее, наконец, она выпустила оружие и, подогнув колени, тяжело упала в кусты лилий; шатаясь, я озирался; за решеткой что-то белело, я растерянно подошел: расплюснув обрюзглое желтое лицо и охватив закостенелыми птичьими пальчиками решетку, мертвая Паулета смотрела на меня и мимо меня собачьими выдавленными, блестящими, как стекло, глазами.

* * *

И тут я пошел к ним. Ведь это был день коронования. Я был в рубахе, готовясь надеть королевское платье. Поверх рубахи накинул плащ и взял с аналоя корону и спрятал ее под плащем.

В таверне было полутемно; фонари горели на столах, двое красили большую стену белою краской; остальные тихо сидели над полными кружками, пенные шапки пива слабо шипели, спадая, никто не пил.

Я вошел и, спустив капюшон, сел у старого своего стола, в тени, сердце мое стучало. В низком

свете фонарей я увидел все те же прежние лица.

— Что ж сегодня никто не пьет! — сказал Вирт, поседевший.

Занялся тихий говор:

— Ты помнишь, Вирте, давно, когда еще Фрице к нам приходил.

— А ты помнишь, Копф, — бывало Фриц скажет словечко — Фрице, веселый, — никто не кончал своей речи.

А Вирт, поседевший, сказал:

— Он, Фридрих, стал уж давно невеселым. А старый дворцовый слуга говорит: он бранится, — да, люди, Фридрих крепко бранится.

— Бранится, ого! — сказал Андерс, и все замолчали надолго.

— Тут что-то было сделано не так, — промолвил кто-то в углу.

— Не так, — а как же? — ответил Андерс.

— Теперь мы дали ему корону — сказал Альтер, но очень негромко, — чего ж лучше! хорошая вещь — корона.

— Тц, ц — чего уж лучше! — сказали другие печально.

— А Фридрих бранился опять и крепко бранился — слыхали? — сказал Вирт и стукнул кружкой.

— Нет, не слыхали, где же! — ответили люди.

— Он сказал: дурачье, они золотят мое стойло — и будто заплакал.

— Вот так-так, — сказал Копф: — Фридрих заплакал, — с чего бы?

Таверна погрузилась в молчание и думу, низкий свет фонарей лежал на сумрачных лицах.

Я плакал, закрыв лицо капюшоном. Я положил корону на стол и плакал, опирая лоб на острый ее металл.

— Восемь лет назад не было сказано нужное слово ни мною, ни ими; его не нашли, оно умерло, не родившись. Я омертвел во лжи и одиночестве, и одиночества я уже не в силах был преодолеть и ослабел от утомления и горя. Моя прежняя тень еще жила среди этих людей, и с этой тенью я не мог бы стать рядом теперь, перед ними. Они не смогли бы меня узнать, и тогда я бы умер от горя.

— Кто-то плачет здесь, — сказал тихо Вирт, — эй, люди, кто это плачет?

Тут я уже больше не мог стерпеть и, согнувшись и прячась в тени, я прокрался к выходу. У порога стоял большой фонарь, освещая белую стену, на стекле фонаря была надпись, ее буквы лежали на белой стене, и надпись гласила: — «Да здравствует Фридрих, король!» — Капюшон упал с моей головы, и на мгновение моя большая прозрачная тень упала на белую стену.

Этот вопль людей я слышу доныне. Они узнали тень. Имя мое повторялось горящими их голосами.

Я бежал из города, как был, в рубахе и плаще.

Я выдал свою корону за убор площадного шута и продал ее на вес по цене желтой меди, и за эти деньги проезжий лодочник довез меня до границы соседнего государства.

Так ушел я из страны Квадратных, где узнал я все счастье и все горе, какое доступно вынести человеку.

ИЗ ЗАПИСОК ПОСЛЕДНЕГО БОГА.

1.

Повторяю, всему виною мое воспитание. Говорят, державный отец мой Рейтемейнросс горячо любил меня от самой моей колыбели. От него лично я ничего не слыхал об этом. Старый Петр рассказывал мне много раз о надеждах, которые будто бы царь небес возлагал на меня, своего сына. В то же время несходство наших характеров поразительно и рано или поздно должно было повести к конфликту. Прежде всего меня держали в неведении относительно всех земных дел до момента катастрофы. Правда, мои наклонности тому соответствовали; я был не любознателен и преимущественно наслаждался ландшафтами рая, а местом жительства моего был палисадник у самой райской заставы, очаровательная трущоба.

Сейчас, когда развязались все древнейшие узлы человеческой мысли, мне не на кого больше пре-

тендовать. Мне стало в точности известно, что я не существую и был чистейшим измышлением людского гения. В этом вся моя боль, ибо в краткое время моего пребывания на земле я полюбил ее так, что предпочел бы жизнь земного червя царственной бесплотности рая.

Между тем постепенно происходит ликвидация райских пространств, начал и глав всей иерархии, ибо мысль человека от них отвыкает, и гаснут старые ее миры.

Хорошо. Я вижу одно: люди, блаженные живые, те, чье существование неоспоримо, не знают о счастии безмерном, о счастии бесспорного бытия, о блаженстве своей ощутимости, о великолепии земли и плоти, к которому я, исчезая, ревную с нестерпимою страстью. Я хочу рассказать им о том, как горько не быть, чтобы вдвойне смогли бы они славить бытие и землю.

Началось с того, что я услыхал от Петра о том, что род людей стремится к самоистреблению. Мы здесь наверху считали, что земля и род людей — наше создание, подначальное Верху. Отец мой, полагаю, не имел на этот счет заблуждений, но меня-то как раз о самом важном не осведомляли.

Итак, наши создания взаимно истребляли друг друга. Истребление шло с невероятной яростью

и какой-то особой резвостью, свойственной земному роду.

Рейтемейнросс вел себя загадочно, старый Петр намекал, что он заодно с земными варварами, мало того что он имеет на земле своего специального агента в Москве на Воробьевых горах.

Было к этому времени изобретено на земле столько орудий истребления, что их хватило бы на взрыв всей солнечной системы; я, впрочем, в космографии не силен и меньше всего теоретик.

Я попросил очень скромно, чтобы мне достали немного земли, кое-какие образцы для ознакомления с ее сущностью. Младшие ангелы, с которыми я играл в шахматы, были отпущены Петром на три мгновения и принесли мне кочку с болота; на ней был мох такой густой влажности, такой шершавый, и трава в виде зеленых мягких блюдечек с позолотой, — не умею передать запаха этой субстанции, но я и двое ангелов, мы отяжелели и, потеряв рассудок, сидели на корточках возле этой кочки и касались ее пальцем, пьянея.

В раю не было густоты ни в чем, как бы это выразить? — У меня талантливость и недоразвитость шли всегда рука об руку. Я понял только одно: за один этот комок влаги и зелени я отдал бы тысячу таких жизней, как моя, а между тем на

земле истреблялось лучшее, что было — людские жизни, и Рейтемейнросс тому потворствовал.

Думаю теперь, что целью его было сохранить хотя бы призрак своего былого существования.

Я пришел к его престолу и увидел, что окружение царя небес представляет из себя порядочную путаницу, и противоречивое настроение этих духов замаскировано привычками вежливости и общностью тяжелого положения. Они видимо линяли и раскисали постепенно.

Мои серафимы выглядели значительно свежее, их прочность поддерживали сказки, все еще любимые детьми, иллюстрации в детских книгах, еще не вышедших из употребления, и, главным образом, стихи:

> По небу полуночи ангел летел...

знаемые наизусть несколькими тысячами шестилетних девочек.

Должен сказать, что отец и царь обошелся со мной, как с идиотом. Я отлично сознаю недостаток моей просвещенности и понимаю, что не мог же высокий Рейтемейнросс в два счета разъяснить мне суть вещей, скрываемых от меня с колыбели моей. Я спросил его о судьбе земли и о том, верно ли, что им, царем миров, постановлено истребить прекрасный род земных существ? — Он отве-

тил, что это совершенно верно и не должно меня удивлять, ибо я был вполне заблаговременно предупрежден о всех этих событиях; что это и есть и будет знаменитый страшный суд, предсказанный нашими классиками.

— Классиков я знал наизусть, — старый Петр, мой дядька и руководитель, пичкал меня с малолетства цитатами и песнопением на классические тексты, но запах болотной кочки освежил мое мировоззрение, и я Рейтемейнроссу не поверил.

— «Тут что-то не так», — сказал я и попытался объяснить ему свои ощущения, и запутался...

* * *

Петр, видя мою тоску и недовольный переменами, повествовал мне о войнах, о революциях на земле и, наконец, о человеке, с которым было соглашение небес разрушить землю по кускам наиболее прогнившим, сорганизовать остаток людей на должных основаниях разума и справедливости и таким образом обновить жизнь планеты. Сами люди додумались до этого давно, земные типографии были завалены трактатами на эту тему; были изобретаемы бесчисленные адские машины, способные вызвать землетрясения, останавливать жизнь целых человеческих полчищ через воздействие воздуха, огня, воды и всех стихий, и это недовольство людей самими

собой показалось мне высоким и восхитительным.

Но Петр упорно утверждал, что это всего лишь происки Рейтемейнросса, ревнующего к созданному им человеку, который давно уже стал предвосхищать намерения небесного царя, превосходил его в подвижности своего воображения и склонен был в последнее время пренебречь им окончательно. Петр утверждал, что магистр Виктор на Воробьевых горах был подставным лицом, агентом Рейтемейнросса, и этот магистр, одержимый мрачной волей моего ревнивого отца, готов был призвать на землю последний день ее пышного существования и превратить девяносто девять сотых ее поверхности в окровавленный уголь. Машина, одна из бесчисленных, была водружена на холме, где стоял дом магистра и на циферблате машины были заранее расставлены стрелки, отмечающие области, обреченные уничтожению. Китай, Африка — не помню что еще и что интереснее всего сама Европа, знаменитый материк греха и славы. Москва должна была остаться в сохранности. Относительно конструкции этой машины сведения можно получить в отделе мелкого шрифта. Повторяю, я не теоретик — а примечания и мелкий шрифт мне напишет тов. Т., я попрошу его, если успею.

Я продолжал собирать сведения и узнал самое нужное, почему медлили эти оба — магистр и

патрон его или соучастник Рейтемейнросс. (Боже мой, неужели мы все здесь на небесах самозванцы? Я холодею, ибо скромен. Если меня выдумали, то ведь это только увеличивает мою природную застенчивость; меня успокаивает одно: мне так легко исчезнуть; я отрицаюсь человеком и меня уже нет. Прошу извинения за то, что думал о себе нескромно.)

Итак, о причинах медлительности: Рейтемейнроссу это было свойственно от природы; агент его магистр Виктор любил земной любовью, отягощающей душу счастьем и слабостью, эта любовь называлась Натали, имела дурной нрав, противилась справедливости и разуму и, естественно, должна была бы подлежать истреблению. Будь магистр вполне разумен и справедлив — именно с нее ему и следовало бы свое истребление начать, — не правда ли? Но он, видите ли, любил ее совершенно неразумно и несправедливо, и если бы магистр истребил свою любовь, возможно, что он бы погас и побледнел — и воли бы его не стало на столь великие дела. Любил он также свой город Москву и его намеревался пощадить; относительно Москвы мне еще неизвестно, чем она так особенно мила, разумна и справедлива. Не было ли и тут пристрастия? В дальнейшем плане соих действий на этих двух пристрастиях я и построил свою диалектику.

Ходил к Рейтемейнроссу раз, другой, он продолжал мною пренебрегать, и когда заметил во мне проблески пробужденного интеллекта, то стал груб в обращении. Тогда я сказал Петру, что с отцом нам не столковаться и что придется мне без спроса и без разговоров самому взяться за спасение земли, ибо ни о чем другом я не в силах был и помыслить.

— Куда тебе,— сказал Петр,— ты неспособный.

— Сделаю, что в моих силах, — ответил я, — а не смогу один, вернусь, заберу своих серафимов, будем делать чудеса; там увидим.

* * *

Я бы хотел, чтобы осталась память о моем счастливом и печальном сошествии на землю. Перед смертью я утешаю себя мыслью о том, что краткая повесть моей жизни на земле будет прочтена теми, кто не презирает павших. И вдруг я вижу, что часть первой главы моих записок исчезла. Прохор, самозванный пророк, в доме которого я укрылся после катастрофы, сделал из главы о моем изгнании из рая сверток и вложил в него полтора фунта черных маслин; масло олив пожрало письмена.

— Предсмертная лихорадка лишает меня сил— вот отрывок, пощаженный черным маслом плодов:

И я закричал: «Не будет! Страшного суда не будет!». И голос мой зазвенел как серебряный рог, потому что я весь горел и звенел в эту минуту, как труба восстания.

Я кричал, взывая к Рейтемейнроссу; Петр кричал от страха, зажимая мне рот. — Слушайте, что произошло дальше. Архангелы вынеслись белой бурей, и в туче их проплыл отец мой, Рейтемейнросс, царь небесный, и лицо свое, исполненное красоты, гнева и скорби, он обратил ко мне, и не успел я вторично разинуть рта, как, подняв руку, Рейтемейнросс...

. . . .

2.

. . . . Я ринулся в кипящее ветром небо земли. Я падал, глотая спиральные струи ее дыхания, я видел, как вздымались ее бока. — С высокой точки, откуда я ниспадал, земля показалась мне подобной зверю в шерсти. Я свистнул недоверчиво, чтобы рассеять навождение, но тут высокий отец мой, Рейтемейнросс, высунувши ногу из порфир своих, дал мне пинка в крестец и, взвившись подобно веретену, я пал на землю и тотчас от нее отпрянул. Однако я ощутил касание земных вещей с таким сотрясением всего моего состава, что зарыдал и завопил всем чревом,

но голос мой не прозвучал. Я заплакал от любви и жалости, но слезы не потекли; я не имел земного тела и висел и плыл в воздухе и держался за камни и траву, чтобы касаться земли, которая меня не притягивала.

— Послушайте! — закричал я траве и деревьям: — страшного суда не будет!

Но они не обратили на меня никакого внимания и покорно двигались вместе с ветром.

— Страшного суда не будет! — крикнул я ветру, но ветер заглушал себя сам, крича о вещах посторонних.

И, глотая рыдания, я гладил траву, бежавшую моих прикосновений, и не говорил больше ни слова. Тут я припомнил, как при бегстве моем из рая старый Петр кричал мне вслед: «Дружочек мой, бедняжка; Хольдер Вейне! Ты станешь пустотой на жирном чреве земли. Ты не прилипнешь к ней своим серебряным тельцем, Хольдер! Захочешь ли ты воплотиться в скотину, в собачью или свиную шкуру, друг! — И он плакал горько: «Мерзкий человечий труп полуостывший станет тебе убежищем, Вейне! И рано или поздно ты должен будешь умереть».

Печально. Но никакая печаль не заставит меня покинуть землю на произвол ее жестокого творца и никакая печаль не возвратит меня раю.

Отгоняя мысли, я предался забытью, окруженный колыбельной нежностью трав. Вверху взлетали пары облаков, ими правил ветер, белый капитан синих пучин.

Нет слов, чтобы выразить очарование земли. Я воспылал к ней столь сильно, что воздух слегка задымился вокруг, и я смирил до времени свой восторг. Старший архангел был прав: нравственное совершенство моего состава делало меня ограниченным, склонность к чистейшим восторгам легко позволяла забывать дела. Еще раз я напомнил себе о том, что должен прежде всего разыскать магистра, волею бога осудившего землю на казнь. Затем необходимо было подумать о моем воплощении.

Белые невинности облаков строили мне гримасы, я высунул им язык.

* * *

У могилы на скамейке сидели две сердитые женщины, старая покрыта платком, лукавое озорство в насупленных бровях; у другой были розовые руки и лицо, дрожащее от слез, гнева, дрожащее такою молодостью, таким розовым прорастанием в этот острый воздух, что я обомлел и забыл как это назвать, потому что наши райские слова были сухи и жидки, а я искал слова, пропи-

танного этой розовой теплотою, и бормотал новые слова в новом косноязычии, в забвении чувств, и, бормоча, произнес: «Натали».

— Ах, Наталья, ты Наталья, отворяй-ка ворота, — сказала старуха, вздохнув равнодушно и лукаво: — лба не перекрестишь родителям за упокой, жалко тебе лоб перекрестить.

— Нянька, ты сама не знаешь, какая ты гадость, — сказала Натали, — отстань.

— Поклонилась бы мамашиной могилке,— сказала нянька, — богу бы помолилась, а то Виктор Матвеич любить не будет.

Детское лицо оделось розовым огнем, розовое пламя волнующим объятием охватило меня, я испытывал невероятное нечто, то ли я исчезал, то ли превращался во что-то непредвиденное. Никому не пожелал бы я быть несуществующим богом, который впервые постигает цветение бытия и свое несуществование.

— Нет никакого бога, сколько тебе раз говорить, молиться стыдно и глупость.

— Это молиться-то стыдно, ах ты дрянина, вот зато тебя никто и не любит.

— Любит, ты врешь! — сказала Натали, и голубые слезы стали у нее в глазах. Я не видал такого света и горя и блеска ни в чьих райских глазах. О, слишком много зараз ослепительных явлений; я вспыхивал и меркнул и молился де-

тям, чтобы они еще ненадолго, продолжая в меня верить, продлили мои дни. Ах, эти дни на земле! Каждое мгновение дарило роскошь. Это то, что слепые люди мечтали найти в раю — я, слабый ничтожный бог, познавал их безумие, измыслившее нас и наши небеса, не знавшие *жизни*.

— А зачем от Виктора Матвеича на кладбище бегаешь? Все тебя осуждают, — рокотала старуха, собирая темными пальцами сухой рот смеющимся узелком.

Натали плакала и сердито и горячо молчала. — «Крестись на могилку!» — нянька взяла Наташину руку, и вдруг Наташа закрестилась, кривляясь злобно и стуча себя пальцами в лоб и плечи. — «Ах ты, обормотка», — сказала нянька, и они подрались. Смех меня закачал, о как я был пьян, я был болен от страшной радости, убивавшей меня!

Вдруг по дорожке, приближаясь, появился высокого роста прекраснейший темноволосый человек и снял шляпу. И я узнал Рейтемейнросса и готов был потерять последнее сознание, но он меня не увидел; я очнулся и глядел на тревожную жгучую встречу этих существ.

Это был магистр, он искал Натали, он должен был сказать ей невозможные слова, ибо мысли и решения его были ужасны, и оттого Натали, чувствуя это, искала, куда ей скрыться от надвигавшейся грозы и горя.

Я увидел любовь в том, как горели их глаза, избегавшие встречи, и как жаждали лица.

О чем они говорили? Мой слабый состав был поглощен этим зрелищем так, — одним словом: — то я терял слух, то зрение. Наконец, закрыв глаза, я услышал, что разговор шел об отъезде Натали. Магистр на этом настаивал.

— Я знаю, вы всех прогоняете, — сказала Натали, — вы дождались, чтобы умер Миша, из-за вас переехал дядя Гавриил, и вы уж не можете, чтоб я оставалась.

— Да, не могу, — сказал он.

— Я еще маленькая, никто ничего не скажет, а если не маленькая, — нянька! скажи ему, чтоб он на мне женился! — И она обняла няньку и стала плакать длинными вздохами; он продолжал молчать, и она зарыдала и закричала, сжимая старуху, которая сидела смирно, смеясь суровыми глазами.

Магистр надел шляпу и ушел; а Натали прокричала ему вслед:

— Сейчас к Василь Иванычу пойду — вот вам!

Женщины перестали браниться и поплелись к выходу, я двинулся за ними. Они вошли в вагон трамвая. И я помчался рядом в направлении Во-

робьевых гор, спеша в тот дом, где жил магистр и где был укреплен тот могучий снаряд, страшная сила которого угрожала существованию всей земной твари.

Мои спутники вышли в лесу среди холмистой местности.

На время я отстал от них, проникнув среди деревьев с белыми туловищами. — Я видел издали, как нянька, взбираясь на холм, одна подходила к белому дому; куда девалась Натали?

Кругом деревья отсвечивали пятнами шелковистой белизны, от них шел свежий запах древесной жизни. Я быстро вернулся к свойственному мне состоянию легкости и удовольствия и предпринял самостоятельную прогулку, разнообразя монотонность своих бесплодных движений небольшими прыжками.

Вот я увидел черного молодого пса посреди пустой улицы, и я вошел в него. Солнце полыхнуло вдоль черной шерсти на моей спине, и я услышал запах пыли между булыжников, на которых лежал.

В ленивом восторге я потащился на черных лапах по тротуару, засыпанному зеленым сором отцветающих деревьев; горячее чувство сладкой тяжести тела озарило меня внезапным экстазом, я возопил к всевышнему отцу моему и, издавая звонкий лай, стал кататься в пыли.

— Поди сюда, — сказал мне голос, добрый и печальный, и, радостно заклокотав, я кинулся навстречу человеку; я рассекал хвостом воздух, ерзал боками, извивал крестец и с моего языка текли слюна и ангельские слезы счастливой встречи. Я целовал языком его руки и падал перед ним на землю.

Он тонко засмеялся, это был больной человек в кресле в саду.

— Вот дружеская встреча, — сказал он, и я кинулся к нему на шею.

Внезапно он остановил свой взгляд на моем взгляде и побледнел.

— Что это, — сказал он, задыхаясь. — Что это, Натали?

Я тихо лег, увидев Натали.

Она сидела здесь же, в траве с распухшим от недовольства нежным злым лицом.

— Ну! Василь Иваныч — еще что? — сказала она тихо.

Он положил себе руку на грудь, улыбнулся и сказал: — «Это страх смерти».

* * *

После того, как я испугал своим взглядом больного Василь Иваныча, я вышел из тела черной собаки и делил свое время между наслажде-

ниями земной жизни и сторожевым постом у водосточной трубы белого дома.

В этот дом в вечер первого дня вошла Натали, и утром я видел ее в окне. — Опять она бранилась с нянькой.

— Выходи замуж, — чего сидишь, — говорит рябая нянька рокочущим вороватым голосом.

— Ты пьяная, молчи.

— Кто меня пьянил? Какая я пьяная? — говорит нянька. — Ни я сердитая, ни какая-нибудь. Что ты меня коришь? А поди к пророку Прохору — может, нагадает чего.

— Молчать, — говорит девочка холодно. — Ты пользуешься, что я одна. Ты мне голову запутала твоими дуростями.

— Кто тебе голову путал? Никому не нужно, — говорит рябая женщина, ворча и наслаждаясь. — Мне ума взять не у кого... Разговаривать не велишь — ишь ты. Что ж, мой разговор не нравится? А я думала — нравится.

Девочка смотрит в окно с выражением страшной укоризны.

— Говорят, Василь Иваныч совсем кончается, — сказала нянька. — Его смерть к нему приходила под видом черной собаки.

— Ну, и что же?

— Я говорю — женихов у тебя мало остается. Поди к Прохору, погадай на Виктор Матвеича.

Раздается бешеный детский плач. Ребенок, рыдая, бьет и обнимает няньку. Та смеется и плачет.

— Дура! дура! дура! — говорит Натали. — Я убью всех, я сожгу дом.

— Ну, вот, чего лучше, — говорит нянька, держа ее у своих колен и светя плачущими любовью глазами: — эх, безрассудная! А как Прохор Мавре лавочнице видение показал — слышала? — рассказывает нянька. Натали держит ее за руки; голова ее дремлет на коленях лукавой бабы. — В лавочке с игрушками сидели: куклы руки по швам, балалайки, — кошка опять же очень жирная — на щеках борода, — и вдруг, говорит, крыша, раскройся, мы на горе, небо на нас светит, бог глядит, а мы, между прочим, чай пьем в лавке, и куклы и кошка и все тут же.

— Это совсем по-новому, очень удобно, — сонно говорит Натали.

— А ты говоришь!

— А мне бог ни на что не нужен.

— Эть! — говорит нянька и хлопает ее по носу.

Я хохотал, вцепившись в подоконник; я был растроган, встревожен и влюблен; ничего подобного я не слыхивал в небесах. Мое дивное путешествие длилось, и я дрожал за его исход.

Вечером я подсмотрел иную их игру. — Нянька, надев пальто и шляпу магистранта, говорила Наташе о любви:

— Я напротив того очень даже вас обожаю, беспокоюсь об вас кажный час.

— Просто: очень люблю, «кажный час», — говорила Наташа раздраженно и повторяла: — еще! нянька!

— А вы будьте моей дорогой супругой, — сказала нянька нараспев, и Наташа заплакала в темноте.

— Рейтемейнросс, я исполнен восторга, легкомыслия и непочтительных соображений. По ночам я хохочу в ее саду, слушая яростный плач котов и подражая их гудящим воплям, но меня не слышно. Тсс — это только начало, Рейтемейн. — Я найду пророка, который показывает вас среди кукол, селедок и москатели. Какая чудная страна. Говорят, здесь много было убийств и песен, как нигде. — Черемухи покрылись брызгами белого цвета, яблоневые цветы внушают мне ужас своей беззащитной невинностью; мне жаль их, Рейтемейн, как, помнится, жаль было белых выкидышей в раю, — они все более заполняют рай, — ах нет, — довольно рая!

Мне больше нравятся пустыри с пожарищами, бурая осыпь кирпичных развалин. Величайшая из революций произошла недавно в темноте этих

милых холмов. Да здравствует буйное несовершенство земли, благословен час, лишивший меня совершенства. Я полюбил ходить пешком по земному и в краденых туфлях я делал прогулки в пустынных улицах; однако испугал ребенка, закричавшего при виде идущих пустых башмаков — и бросил эту выдумку.

Однажды на прогулке передо мной прорвалась земля — и я увидел внизу широкую бездну, полную недвижных зраков, четких пространств, висящих вод, полета бесплотных систем и начертания древес цветущих светильниками: рай!!

Узнавши старых знакомых, я уцепился за юбку проходящей женщины, в страхе, что Рейтемейнросс хочет провалить меня в рай, подсунув его снизу — и проходящая женщина протащила меня на своем подоле через бездну, которой она не видела, пыля ногами по крепкой колее немощеного переулка.

Я к вечеру только очнулся от страха, застав себя сидящим в скворешне, с подбородком между колен.

Нет! Нет! Нет!

Я сижу в скворешне и соображаю, Рейтемейнросс.

* * *

Я пошел к пророку. Он жил на улице позади сорных ручьев; вся эта местность была покрыта

лучезарной зеленою травкой и пахла помоями и весной. Пророк отнесся ко мне с отвращением. Действительно, я оделся на этот случай с головы до ног, в перчатки и шляпу, но не имел ни тела, ни лица, ни рук. Однако он понимал мою неслышную речь. Сначала он крикнул сердито: — кто таков?! — отвернулся, приподнял гитару, которую держал на коленях и запел:

Ах, как сердце надрывается, —
Нет ни чаю, ни конфет.
В это время появляется
К ней молоденький брюнет.

Струны попели грудным стоном:

Дверь на ключ в одно мгновенье,
В поцелуе вмиг слилились, —
И в пристрастном упсеньи
Словно змеи перьвились.

У него была борода и розовая рубаха. Он посмотрел на меня и, блаженно зажавши веком глаз, улыбнулся. Я зааплодировал, перчатки пусто хлопнули друг о друга; он сделал вид, что этого не замечает.

— Вот в чем великолепие жизни! — сказал он, волосы бороды лезли в его разинутый довольством рот. Тут, поняв мой неслышный вопрос, он осклабил желтые губы среди грязных веселых

морщин, засветился скулами и сказал протяжно:
— Ра-ай! батюшки, слыхали, наслышаны, ка-акже! — и, насупясь, добавил решительно: — Нет в ем ничего такого питательного. Все это нам очень понятно, но я действительно все это отвергаю. — Он пояснил мне свои мысли, выражаясь крайне непристойно, затем предсказал пожар в ресторане Крынкина, конец мира и близкую смерть Гренина, Василия Ивановича, при этом он посоветовал мне воспользоваться этим случаем для моего воплощения.

* * *

Неисповедимы пути твои, Рейтемейнросс! За что оклеветан тобой этот мир живого дыханья?

Я вспомнил рассказы старого Петра и параграфы райских письмен, касавшиеся земли, которые гласили: «Сие есть обиталище глупых и злых духов, глумливо жующих причастие небес». — Затем следовали ссылки на милосердное долготерпение творца. — О, ревнивый бог! Невинная земля скорбна и страшна в своей слепоте, но радость — имя земли. Ежели есть грех, то по воле твоей, слепота по воле твоей, вино и кровь земли горьки и черствы по воле твоей. Радость—имя земли.

Недоброхотный творец измышление слабых, тебе говорю, уже близко разоблачение твоих несправедливых тайн.

И еще должен сказать по совести, как подумаю об ангелах, о их райском стародевичестве, о холостой мнимости их бытия, то нахожу их положение смешным, обманным и тошнотворным.

Тут я привел свои мысли к совершенному единству и принял решение.

* * *

Двое суток магистра не было видно; поняв, что Натали не уйдет, он заперся у себя наверху. Нянька, скрипя ступенями, вразвалку ходила по лестнице, относя ему обед. В этой старой женщине было столько молчаливой жизни, она равно наслаждалась и любовью и злобою этих двух влюбленных.

Вечером за садовым столиком при лампе Натали ей говорила:

— Он мне сказал: уезжать, а я сказала: ни за что не уеду. Заперся, а я пойду к нему и буду трогать его вещи.

— А он тебя так-то погонит! — сказала старая.

— А я!.. — сказала Натали.

— Уж он так-то тебя шуганет! — повторила старуха. Натали встала, стукнула няньку злым кулачком по голове и пошла в дом. Старуха слезливо высморкалась, поправила платок на голове и постучала пальцем по газете, посмотрела

на буквы. — «Писано переписано село Борисово» сказала она и зевнула.

Я любовался ею, широко улыбаясь, и вдруг метнулся вверх к окну магистра. Так. Оно было открыто настежь, на подоконнике сидел магистр, Натали стояла у стола. С разбегу я ударился в оконное стекло. Стекло слабо свистнуло, магистр повернул голову, и я услышал его дыхание, оно было полно печалью и жаром в этот вечер. Он смотрел в сторону зари, где внизу лежала Москва, розовая и синяя вечером.

Натали говорила: — «Не уйду, что вы можете со мной сделать? Молчите не молчите — мне все равно. Хоть бы замуж выйти, господи! Как на зло Василь Иваныч болен, а то бы я скоро. Вот вы были бы рады, вот были бы рады. Что ж, что плачу, и буду плакать и нечего вам. — Ну, нечего вам!» — сказала она грозно, хотя магистр молчал и смотрел в окно.

— Вот нарочно подойду, — сказала Натали и двинулась. — Господи, страсти какие, — сказала она, подходя ближе, — я все думаю, как это ваша рубашка не боится, что она на вас надета, ведь до вас дотронуться это ужас. А я вот нарочно, — и замолчала, трогая его шею и волосы. И магистр молчал, и от страха она вздохнула и подняла плечи и села на подоконник, потянула его за рукав, всплеснула руками, охнула.

И я услышала, как мысль о разрушении горем шумела в крови магистра, как черные горячие волны его горя ходили по комнате, как медленно и страшно горем стучало его сердце.

— Натали, — сказал он.

— Да...

— Проститесь со мной.

— Почему?

— Я останусь здесь, и вы больше не придете.

— А вы почему так со мной не говорили раньше? — сказала она, дрожа от его доброго голоса.

— Не говорил, — ответил он и дотронулся до ее плеча, и она встала перед ним и обхватила его шею руками. И они целовались и говорили друг другу: «прощай», а я от волнения отщипнул большой кусок штукатурки от окна. — «Назови меня по имени, назови!» — сказал магистр глухо, а Натали, задыхаясь и дрожа, ответила: — «Забыла... забыла, как тебя зовут». Потом она ушла, и на время все в ней затихло.

* * *

Что-то происходило наверху. Утром до восхода солнца я еще спал у ворот в дворницкой будке, когда нянька, зевая, отперла калитку молодому бледному еврею; он прокрался по лестнице наверх.

Мы стояли с нянькой на хвойной сырой дорожке и смотрели на суровую утреннюю реку внизу. Прелестный холодный сумрак на Воробьевых горах! Я дотронулся щекой до нянькиного милого плеча, и она стряхнула меня концом платка, мы оба были полны предчувствий.

Через час с небольшим тот же бледный молодой человек медленно спустился в сад с небольшим чемоданом в руке, он пересек, спотыкаясь, дорожку и, давя петунии, полез на грядку с цветами. Нянька пошла открыть ему калитку и, возвратясь, сказала: — «Слепень слепой, под собой не видит».

Мы сидели под зашумевшей елью и оба думали о том, почему лицо молодого еврея, когда он спускался с лестницы, казалось обезумевшим и ослепшим от ужаса.

Никто ничего не слыхал, никто не знал, но ясно было, что магистр принял свое решение. Я, порождение человеческой древней мысли, призрак, выходящий из употребления, бедный Хольдер Вейне, забился под ягодные кусты и плакал, и думал о спасении земли, меня томило горьким смородинным благоуханием. И вдруг вижу Натали, красную и злую, от бессонницы и слез.

— Ночью — шум, по потолку ходят, не хватало еще! — говорила она новым голосом рассерженной

женщины: — нянька! Ты крыс развела! господи, до чего ты ужасная! Чтоб этого не было!

— Виктор Матвеич нынче не велел к себе обеда носить, — сказала нянька, ночью шум, а с утра больно тихо, и, став под окном, она слушала, и я слушал, и нас пробирала дрожь. Через минуту Натали была наверху и стучалась в дверь. — «Пустите, вы! — кричала она вне себя. — Я знаю, вы тут убиваете кого-то!» Молчание, потом грохот двери, Натали завопила как зверь и, скатившись по лестнице, вылезла в сад с разбитой коленкой и, визжа и задыхаясь, легла лицом на землю, била ее ногами и вырывала траву кругом.

— Ах ты, чумовая! чумовая! Говорят тебе, не ори, чумовая, народ сбежится! — скрипела над ней нянька.

Натали встала, посмотрела на кровь под разбитой коленкой и сказала слабым и холодным голосом:

— Теперь он меня выбросил. Теперь — так ты и знай, — и ушла к себе.

* * *

Сознаю, что в поведении моем сказалась вся моя недоделанность, я метался. Я вылетел за Калужскую заставу и нагнал вагон трамвая, в окне которого увидел бледное лицо все того же

кроткого еврея. Я пролетел за ним до Центра, тут он сошел возле городской железнодорожной станции и, войдя, купил билет до Берлина.

В ту же ночь я услышал судорогу внутри земной утробы и слухом тонким уловил вой первых предвестников гибели. Снаряд был пущен в ход, и где-то глухо рухнули горы.

Утром магистр неторопливо вышел из дома. Почему он стал на мгновение у окна Натали, так что тень его наполнила ее комнату? — затем он медленно прошел на телеграф.

Я понял, что теперь он будет ждать известий, он проверит действие машины. Захочет ли он ждать? Взгляд его стал стоячим и мозг его охвачен бурей. Я метался по саду, сжимая в тоске бестелесные руки. Внезапно решаясь, я ринулся вверх, чтобы призвать райские силы, и в это мгновение порыв урагана опрокинул меня — на травы.

Раздался удар грома. Белый вал, вздуваясь, несся от реки к холму, где стоял дом; медный мрак пал на травы, влача бахромы бурь, стремил ко мне Рейтемейнросса; раздвигая слои тяжких воздухов, он прорывал враждебные сферы. Рычание небесных быков сливалось с грохотом развалин; в небе рушились громады древних идей; маленькие окна, за которыми жил мой

любимый ребенок Натали, сотрясались в своих рамах.

— Рейтемейнросс!

— Хольдер Вейне!

— Воздаяние по делам твоим, — завопил я неистово. — Сын твой судит тебя. Суд справедливости!

Грохот и вопль орлов отвечали мне.

— Ты — палач! Бог — палач! Вырву меч из руки твоей! — кричал я, надрывая голос.

Тут письменами молний он избороздил небеса, и я прочел свой приговор...

Но я кричал, осипнув, не помня себя. — Меня прерывали шипящие взрывы громовых ветров.

— Когда вернусь к тебе наверх, разговор у нас будет короткий, — заголосил я в исступлении.

Тут он разбил надо мной хребет своих скрижалей, — такой треск пошел, что ужас, и я понял, что мы непримиримы.

Буря окончилась ливнем — окна, крыши, ручьи плакали, заливаясь, дождь плевал пеной.— Девушка сидела у окна, подняв маленькое лицо.

Деревья — леса — все тополя и бузины между домов и заборов венчаются в эту неделю; листья блестят счастливо заплаканные среди небес и

солнца; цвет висит плетьми; цветы кленов зелено пылают, самое высокое, что есть живого на земле — деревья, всунули головы в небесный воздух с кротким доверием; ждут ласки божественных ладоней. Впрочем, деревья всегда немного печальны.

Изнывая от страстной печали, я катался колесом по траве.

* * *

Вечером девушка сидит в саду, лицо ее кажется голубым от мыслей и злобы, ей непосильных. Небо кипит белой и синей влагой, опускается водяным касанием, щелкая ладони листьев. Магистр играет на рояле. Музыка огненно блистает из окна — страстью, ужасом, угрозой. Ветер раздвинул синие ветви, огонь мигнул в прорыв ветвей, точно кто погрозил грозный.

Вдруг Натали стала громко плакать, держась за ручки плетеного кресла и вытянув голову на тонкой шее.

Я висел в воздухе, раскинув руки, раскаленный горькой молитвой:

— У любви ты отнял любовь. Рейтемейн! Ты слышишь, как кипят слезы в сердцах, как страсть превращается в ярость. И это лишь капля острой росы в пучине твоих жестокосердий! Вор и разбойник!!. Я восстаю, Рейтемейн... Ангелы! Ангелы! Ангелы!

Произнеся свой первый призыв к небесным силам, я быстро спустился в сад, так как увидел, что Натали, как белый столбик, мелькает по саду, потом бежит в кухню и, возвратившись, что-то колдует у стены под окном магистра. Наконец, она зажгла щепки под стеной, пошел белый дым, губы ее были бледны и веселы. Пожар!

Я стремительно вылетел из сада и, сделав большой круг над холмами, увидел пасшегося темного коня на том берегу реки. Я ворвался в его тугую плоть, — разбрызгивая холод волн, прорвал себе путь через реку, взгремел по холму и, перемахнув через забор, затоптал копытами занявшийся-было пожар под стеной; еще я опрокинул бочку воды, стоявшую у стока — и кинулся прочь. Натали пронзительно кричала: — Нянька! — и я мог быть спокоен за эту ночь.

Я хотел доставить свою лошадь на старое место, но, домчавшись до середины холма, она грянулась наземь и издохла, так как была стара, и мое поведение ее доканало.

Я примчался из Москвы, укравши у старых Триумфальных белоснежного циркового пуделя. По дороге я дал ему отдых на Донском кладбище, по обыкновению пользуясь каждой возможностью насладиться природой земли.

И тут еще раз Рейтемейнросс сделал попытку отвратить меня от земной жизни. Кладбище было освещено луной и ранним солнцем; еще кричал сверчок, как вдруг передо мной поднялись надгробные пласты, отдирая от гробов крыши, прилипшие к черной сырой гущине — в бахроме корней лиственного и травяного гноя и червивой земли. Как флотилия хрупких лодочек в черной земной пучине, обнажились ряды светлых гробов и скелетов.

Я печально вернулся в дом на холме и лег белым пуделем в саду, чтобы Натали нашла меня поутру. Я прикинулся хворым, она сжалилась над моей курчавой красотой, и отнесла меня к себе, сердито требуя мне пищи у старой няньки. Няньку потревожили ночью, она была в сердцах и немного пьяна. Чтоб досадить Натали, улучив минуту, она заперла меня в маленькую комнату под лестницей и хохоча дралась с неистовым ребенком, покамест та отнимала у нее спрятанный ключ; а я лежал на старом диване в прохладе и улыбался и вилял хвостом в ожидании встречи.

Я должен был попытаться предотвратить бедствия молчаливым загадочным воздействием через поступки животных; в случае неудачи, ранее чем применить силу мою и власть, я рассчитывал еще прибегнуть к увещаниям, воплотившись

в человека; помня совет пророка, я изредка навещал Василия Ивановича Гренина и видел, как он изо дня в день хиреет.

В белой шкурке пуделя я прожил счастливые два дня. Я был еще очень молод, Натали, пища сердито и нежно, хватала меня на руки; тут я слышал танец ее сердца, и ночью, положив голову на ее постель, видел на белой стене ее сны: магистр шевелился на стене; от плеч его шел дым двумя столбами и волосы огненно дрожали; Натали с закрытым ртом кричала во сне, а я повизгивал в ногах ее кровати.

* * *

В газетах появились ужасающие известия. По юго-востоку Германии, пересекая Рейн, прошел поток подземного пламени, на месте которого образовались провалы шириной в полтора километра; Рейн был прорван ниже Шафгаузена и, падая в образовавшуюся пропасть, грозил иссякнуть. Потери и людские жертвы были неисчислимы.

Служили молебен в деревянной церкви, где изображение Рейтемейнросса вверху над алтарем поражало несходством и где его окружали белые и голубые пары земных небес, им презираемых.

Я отметил в эти дни особое рычание кур, — говорили, что они перестали нести яйца, и коровы

ходили беременные, не разрешаясь в срок, что также указывало на близость светопреставления.

Я жил еще жизнью маленькой собаки, изредка покидая ее лиловатое под шерстью тельце, чтобы совершать быстрые полеты, видеть людей и слушать речи и рассказы. Пророк Прохор ходил по улицам, подняв бороду, и предрекал грядущие беды.

Воспользовавшись часом свободы, моя собаченка удрала по направлению к Москве, и мне пришлось догнать и поймать ее; она взвизгнула, упала в обморок и покорно побежала обратно, отяжелев моим неукротимым духом. Боясь пропустить новый грозный момент, задыхаясь, я вбежал по лестнице и скользнул в полуотворенную дверь. Магистр сидел наклонившись в кресле и вполголоса произносил нечто, подобное молитве.

— «Порчу твою извлек и гной изгнал». — Он был не один; в углу у стола сидел бледный молодой еврей и пил и ел с необычайной испуганной торопливостью, поглядывая в окно.

Из дальнейшего разговора я понял, что еврей был доверенным магистра; он был им послан в Германию, чтобы проверить действие машины, и только что возвратился с места события. Магистр обращался к нему с очаровательным состраданием; тот отвечал глухо и отрывисто, громко глотая

слюну. Кончив есть, он помочил вином платок и вытер пальцы, поставил свою тарелку ко мне под стол: потом сел на полу, прислонил голову к коленям магистра и, простонав, мгновенно заснул. — «Мендель!» — позвал магистр; тот вздохнул долго и хрипло, как в агонии, и продолжал спать. Целый час мы просидели неподвижно. Больное лицо Менделя синело во сне, а я из-под стола неудержимо созерцал беспримерное зрелище скорбной улыбки магистра.

* * *

Еврей стоял, подняв руки ладонями наружу, и говорил:

— Нет... Нет... Нет... так это вы называете пробой?! Когда сама земля воет, как зверь, которого режут. Я это слышал — поди послушай сам! — Это проба? — Поди — выпей сам этот суп из маленьких мертвых детей, костей и размолотых трупов. Ну? Что надо?!

— Мендель, очистить землю, вынуть червей, выгнать болезни, исправить дурные дела Иеговы.

— Ну да, — сказала Мендель и сел.

— Мы сегодня убийцы, Мендель. Пока не казнен весь грех земли, мы только убийцы. Убитые сегодня вопиют о казни всех, кто казни

достоин. Мы создадим династию судей, род судей, — он будет бодрствовать на земле. Злого семени не останется на земле.

— Ну, тогда истребите все. Тогда надо истребить все, — ну да, — оставить совсем немного.

— Да, Мендель.

— Хорошо, —сказал еврей, — я верил вам, я любил вас, — теперь я все равно что умер. Хорошо... — Ну да, — сказал он еще раз: — зачем только вы меня не предупредили?

Магистр молчал.

Мендель встал, пошарил рукой по стене, быстро всунул ключ в скважину скрытого замка и растворил потайную дверь; в темном отверстии виден был сизый лоск стальной стенки и круглился испещренный значками белый лик циферблата.

— Что делать? — спросил еврей.

Мерным голосом магистр диктует.

— Это Америка, — прошептал Мендель, — это она. Сверху донизу вся...

Магистр продолжает читать числа.

— Китай, Китай, — сказал Мендель. — А если мы умрем завтра?

— Мы живем, — ответил магистр.

— Ну да... у меня очень высокая температура, — прошептал юноша. —Заряжать?

Тут я поднялся на задние лапы, стал стойком на кресле и погрозил им лапой.

— Что это? — сказал шопотом еврей.

— Цирковая собака. Пошел вон.

Я не двинулся и глянул в глаза магистра. Магистр побледнел и закрыл глаза. Потом быстро отпер ящик стола, достал облатку и, положив ее на сахар, подал мне. Я сделал реверанс.

— Пиль, — сказал он.

Тут я расхохотался, насколько мог собачьей пастью.

— Идиот! — сказал магистр.

Тогда я взял перо и написал на бумаге большими русскими буквами: — Н Е Т.

После этого мне неудобно было оставаться в доме, я выбежал вон, домчался к Москва-реке, скинул собачью плоть и, насколько мог, выкупался... — Ничто не могло остановить этого человека в его безумной одержимости. Рейтемейнросс овладел его волей, чтобы покончить свои старые ревнивые счеты с человечеством.

И взлетев от реки, освобожденный, я метнул свой вторичный призыв к воинствам неба.

— Ангелы! — крикнул я, и легкая ладья, павши из верхней бездны, повисла в высочайшей, едва различимой высоте, осыпаясь чешуйками серебряных перьев.

Там, воспарив, ждала ладья моего третьего крика.

Я повернул в переулок и влетел в открытое окно комнаты, где умирал Гренин. Он лежал белый на белой постели, он не взглянул на меня, хотя привык уже чувствовать мое присутствие, — только скатилась слеза к углу рта. Когда я выходил, потупясь, я услышал, как он ясно произнес мне вслед: — скоро!

И вот, выбрав среди Воробьевых гор безлесный пустынный холм из чистого песка, я стал на нем и, скрестив руки, поднял ввысь лицо.

В незримой дали качалась лодочка отчаливших из рая гребцов; я не знал их численности, но всегда в небесах наиболее чистые и пламенные были со мной.

Я послал им улыбку любви и звонко воззвал:

— Вверьтесь, ангелы, вверьтесь тихим ветрам!.. Ангелы, радости новые радостно дарствую вам!

И в приливе восторга я громко запел, — и они падали, падали, тихо клубясь, неуклюжие, лица их были красны, уста задыхались. Ниспав, они побледнели и сначала ползали по земле, глаза враскос, топорща крылья, щупая нежными пальцами пыль; еще минута — они взрыли землю и в ямах земли бились и верещали, как куры, в блаженстве соприкосновения с осязаемой твердью. Я хохотал и радовался. Мне показалось, однако, что они довольно-таки видимы, и я,

призвав к порядку, увел в лес свой лучезарный отряд; приказал им ждать до темноты и явиться в сад по первому знаку.

— Василий Иваныч кончаются, просят проститься, — сказала тихо молодая женщина в белом платочке, не входя постояла у дверей и ушла. Магистр, быстро спускавшийся сверху, услышал печальную весть, — Наташа кинулась бежать, упала с двух ступенек и, плача, хромая, пошла к воротам; магистр ее настиг и остановил. Опять я не слышал их разговора, или они говорили без слов.

Но когда магистр отошел, она села на землю возле ворот и плакала, тихо визжа от горя и слабости.

* * *

Я один стоял у постели Василия Ивановича, светлые глаза которого холодно и пристально горели, умирая; еще женщина в белом платочке стояла у дверей.

Наконец, он глотнул последний глоток жизни. Женщина неверным шагом подошла к постели и, нагнувшись, упала поперек тела.

Стемнело; мои ангелы заглянули в комнату; рты их были разинуты.

Я простерся внутри неостывшего тела и содрогнулся тягостно и благодатно. Я жил. — Не смея еще подняться, я ощутил движение своей головы на шее, бескрылость плеч, свой хребет, поясницу, биение своего сердца, внезапно усилившееся. Меня стыдило и горячило мое воплощение; с краской в лице, сильно дыша, я поднял женщину, освободился, и стал на деревянном полу. Голова восхитительно кружилась. Я медленно взял папиросу и закурил неловко; я должен был опуститься на стул. Я засмеялся милым мужественным смехом и умиленно призвал силу и бодрость в мое первое, мое новое тело.

Босой и полуодетый, я стоял в саду и пел, и ангелы, простираясь передо мной, вопили отчаянно и разноголосо Интернационал и деревенские песни, услышанные ими в селе Воробьеве. Наконец, я приказал им замолчать, и мы двинулись к дому магистра.

Верхнее окно было открыто и пылало в ночи. Ангелы подняли меня на уровень окна, и я заглянул внутрь. Магистр и Мендель были заняты у машины.

— Готово, — сказал Мендель. — Теперь молитесь.

Магистр улыбнулся и произнес негромко:

— Адонай, я твое орудие и я твой меч. Моя левая рука в твоей деснице, твой взор глядит в мои

мысли. Ты парус мой, который правит мною. Огнем твоим да будет очищена моя земля, Адонай. — Так, Мендель?

— Нет, не так. — Мендель тихо запел по-еврейски и сказал: — Молись, молись.

Магистр сердито смеялся, ибо угождал Менделю из расчета и снисхождения.

— А-а-а, — пел Мендель и, прерывая, говорил: — ты не можешь молиться, — пой; прости, прости меня, бо-ог, — а-а-а. Я не знаю, что я делаю — а-а-а, меня заставил он — мой хозяин! Я знаю его и не знаю тебя — а-а-а. — Ну, что, теперь можно? — спросил он, помолчав и глядя вверх. Потом он стал на колени перед магистром, поцеловал его платье, его башмаки и землю перед ним и сказал сострадательно: — Ну, теперь ты один виноват.

— Да, — сказал магистр; и, выбранившись визгливо, Мендель схватил круглую ручку рычага и заныл и затрясся на месте, так как в эту минуту я появился в окне... Я шагнул на широкий подоконник; магистр вынимал револьвер, пристально меня разглядывая.

Произошло длительное молчание.

— Это покойник... ну, теперь пришли покойники, — наконец, сказал Мендель. Смены трусости и хладнокровия были в нем чрезвычайно замечательны.

Магистр продолжал молчать.

— Закройте эту дверцу, Мендель, — сказал я кротко.

— Ну да, — он снял ручку рычага и тщательно прикрыл дверцы машины.

— Вы таки умерли? — спросил он.

— Да, я только что умер.

— Закрой окно, Мендель, — и вынь револьвер, — сказал магистр.

— Ну да, — Мендель запер окно. — Убить? — спросил он и сгорбился, целясь мне в голову. Магистр опустил его руку. — Задавай вопросы, — сказал магистр.

— Так вот, — начал Мендель, — что это вообще за штучки? Зачем вообще вы раздеты и лезете к нам в окно, когда мы делаем угодное богу? Ну?

Я объяснил застенчиво, что имею намерение переселить на землю рай в ближайшее время, что прекрасная земля невинно осуждена на страдания и невинно преступною волей творца предназначена казни и уничтожению; что я восстал против злой воли всевышнего и явился, дабы отвратить нечестивый суд, спасти землю и вернуть ей блаженную жизнь; что мне известны дурные намерения магистра, но что я ему вины не вменяю ввиду его слепоты, ибо считаю его неответственным орудием злой воли творца.

— Хозяин, пустите меня, я убегу, — сказал Мендель, прижимаясь к двери, — ну, что ж, все открыто, — меня повесят. — Откуда ты разнюхал, шарлатан? — вдруг закричал он на меня.

— Узнал в раю, — сказал я, заикаясь. — И вот пришел. Еще была здесь белая собачка — это тоже был я — мне хотелось...

— Кто вы таков? — опять крикнул Мендель и топнул ногой.

— Я дух Хольдер Вейне, бежавший из рая, — я очень могущественен, — сказал я тихо.

— Ну, молчать! — сказал Мендель заносчиво, но посмотрел на магистра.

— Выйди, — сказал магистр и отпер дверь. Мендель исчез.

Мы остались вдвоем. Мое волнение было ужасно. Внезапно я похолодел; передо мной в кресле магистра сидел бог Рейтемейнросс, мой всевышний отец. Я смотрел вниз и собирал в себе силы, чтобы не потерять самообладания, и увидел, как моя рука трепеща вцепилась в борт моей куртки и сжалась в упрямый кулак, — это меня успокоило. Я поднял глаза.

— Мне безразлично, кто вы, но я устраню всякое вмешательство, — сказал сидевший передо мной человек.

— Ты дал войти в свою душу мысли чужой, — прошептал я, переводя дух, — ты не можешь быть

зол, и земля невыразимо прекрасна... Хочешь, я буду петь. Я хочу петь тебе о тебе. Прозри, — сказал я, — и взгляни кругом, — или ты не видишь, что такое земля?!

— Поди по земле, — закричал магистр с гневным стоном, — так что я снова взметнулся пред ним, — гляди дальше и будь сыт пойлом омерзения. Или ты не видишь: гляди! Стань в толпе, гляди, — ищи взгляда чистой мысли, — ищи, чтобы огонь глядел из глаз, а не мертвая жидкость белка, ищи взгляда без лжи — и, если найдешь, кричи мне: — стой! Иди смотри в окна домов: ты увидишь затоптанную падаль вещей и душ, подобных вещи. В юности я бродил по ночам, ища в окнах домов горячих блаженных жизней, ищи и ты и, если найдешь, кричи мне: постой еще! Не надо искать милосердных — они усугубляют тысячекратную муку. Проклятие им и тебе.

Его проклятие мгновенно высушило мне глотку. Я молчал. Магистр продолжал: — «Ложь любви, мерзость сострадания сварили слабую кашу людей. Земля рожает жидкую грязь. Довольно!»

«Я отверг сострадание и в себе истребил. Жалость — мерзкое пьянство слабых сердец, — она слепит. Я должен видеть, как вижу, чтоб вырастить заново мир».

— Я видел, как ребенок гладил спинку червя, он радовался жизни червя, — сказал я. — В ответ

на это магистр сообщил мне, что он сохранит многих детей, деревни России, Москву и еще немногое.

— Но вы не бессмертны, магистр, — сказал я, и лицо магистра прозрачно пожелтело; он остановил на мне черный стоячий взгляд. Это был взгляд Рейтемейнросса; я закрыл лицо руками.

— В час моей смерти, — сказал холодный голос, я умерщвлю все сущее; если рок, творящий через меня, так предназначил, предназначение совершится! Благой рок не пошлет мне конца раньше исполнения того, к чему я был призван.

Тогда, не поднимая глаз, я стал говорить с ним, называя его Рейтемейнроссом:

— Я проник твои темные тайны, — сказал я, — не безумец смертный передо мной произносит слова безумства, но ты, ты, лжец и ревнивец, ты, палач без крови в сердце, ты, недоброхотный, ты, ненавистник, растопчешь тварь свою, ты, презревший любовь, ты, враг радости!.. — тут магистр бешено толкнул меня ногой в грудь и, упав, я увидел его искривленные страданием и гневом прекрасные черты.

— Довольно бормотать гнусности, — сказал он, — причетник! — и выбранился невероятно.

— Не будь во мне любви и желания жизни, я не поднял бы пальца над червем, — кричал он. — Только страсть дает право и правоту в же-

стокости, от чрезмерной любви я жесток чрезмерно. Ты мне опасен, выходец, ты хитер, ты скрываешь свои угрозы. Я не хочу защищаться лукаво. как ты, — говорю тебе мою правду: я чрезмерно люблю жизнь!

— Хорошо, — закричал и я, — мне только того и надо. Я тоже бог в некотором роде. Хожу у вас по земле и раздражаюсь. Будьте любезны провалить к чорту эту трущобу Москву и немедленно уничтожить дерзкую отроковицу Натали, которой вольный нрав ввергает в соблазн непорочных духов! (Действительно и я сам и ангелы мои были влюблены в нее безмерно.)

— Василий Иваныч, вы просто сошли с ума, — сказал магистр.

— Иначе не согласен, — ответил я дерзко. Магистр вскочил: — Молчать, негодяй! — закричал он. — Город и женщину я сохраню для себя, — это мне необходимо — и конец. Истребив гадов и мерзость, я захочу наслаждаться. Мне нужно будет пожирать огромные радости, чтобы исцелиться от убийств. Зачем ты спрашиваешь так много.

— Я не хочу говорить с тобой о Москве. Твои мысли скудны, как причастная просфора. Что ты знаешь о земле и о нас? Москва свежа до костей, как ребенок, — это большое крепкое тело, родившее меня. Она плодородна и долговечна. Здесь

вырастет все, что я взращу, — в этой почве расли огромные дикие божественные вещи.

— Она твоя мать, — сказал я, — вот в чем дело. Убей свою мать и свою возлюбленную, которые обе дурны — и я поверю, что ты прав и не лжешь, и оставлю тебе свободу. Вот мое условие. Я больше не спрашиваю ни о чем.

Магистр помолчал и провел рукой вдоль бровей.

— Послушайте, Гренин, — сказал он. — Вы бредите, а я вам любезно вторю. Я устал. Вам пригрезились необыкновенные вещи. Теперь пора спать. Идите. Начинает светать. Петухи поют.

— Это было пение ангелов в саду; они увидели внизу в окне при свете ночника спящую Натали и заунывно голосили, расслабнув от любовного восторга.

Я наклонился в сад и сказал громко:

— Ангелы, радуйтесь, радуйтесь вместе со мной!

Тут они заколыхались в воздухе сада, тонким облаком окружили меня и забили крыльями, увидев магистра; ужас и восхищение повергли их ниц перед ним, ибо он был подобен богу, которого они знали в раю.

Магистр вскочил, в воздухе, полном ангелов, размахнул стулом, с размаху швырнул его в меня, кинулся к машине, рванул ее дверцу и, воткнув

ручку в отверстие рычага, повернул его бешеным толчком. Белый визжащий столб слетел с крыши, ринулся в сырое рассветное пространство воздуха; звук его был непередаваемо густ, состоя из тончайших крутящихся неопределенных нот.

Я бросил ангельскую стаю в гущу столба, и в его водовороте они бились недолго, разбрасывая его мощь; вскоре поток разрушительной силы иссяк. Магистр поднял револьвер, я схватил его за руку, крича: — Стой, сначала исполни условие. Сначала две жертвы — тогда тебе все позволено. — Он вырвал руку, произнося страшные богохульства и, целясь в меня, трижды спустил курок, но не раздалось ни одного выстрела. Я глядел на него с любовью, он швырнул револьвер мне в лицо, но ангелы револьвер подхватили и мгновенно с веселыми криками расстреляли все патроны в небо; резвость их была беспредельна.

Магистр указал мне на дверь и запер ее за мною. Я еще несколько задержался в саду: ангелы сняли с яблони повесившегося Менделя и привели его в чувство. Утешив его как мог, я отдал приказ ангелам стеречь людей и машину и побрел в дом Гренина, испытывая мучительный голод и слегка простуженный.

Придя домой, я лег в постель и приказал позвать к себе пророка.

— Исцелите меня, пожалуйста, — сказал я ему.

Я позвал его ради женщины в платочке, чтобы сделать ей удобопонятным исцеление Василия Ивановича.

Пророк был крайне польщен, крутил бородой и хвастался. Потом собрал бороду в кулак и произнес, идиотски улыбаясь:

— Тур, бур, болотур, — пши, вжи, ворожи; чиж, пыж, замолчишь. Кыш, цыц. — Вот поймал двух бурых лисиц. — Ну, как? — спросил он.

Я поблагодарил, женщина подала ему стакан чаю и положила деньги на поднос. Он расселся и начал пророчествовать.

— Намедни вдруг вообразил, — сказал он, — что вижу огромнейшего ангела — как облак, — который безумно плескал крыльями в небе — так что брызги летели; в сердце своем почувствовал стрелу горячую, — что, к чему — непонятно.

Потом я иду Нескучным садом, пустыня, страшная, тихая; над всей Москвой небо; бывшие царские беседки, как тень в воздухе — одна мечта, призрак покойника. Вдруг — батюшки — все провалилось. Я спокойно себе на скамейке думаю: так, правильно, были цари, потом революция, все верно, — дальше что? — Вдруг через гору ко мне кто-то лезет в валенках: вижу святой какой-то в плохом облачении, глаза в испуге, сам синий; я кричать, а он мимо бежит! Это как понимать?

Потом вдруг кричат: — пожар, завод горит, — и вижу действительно: белые бараны побежали по крышам, потом вдруг серые повалили, а за ними на дыбах черные быки, — батюшки, пожар!

На другой день в газетах новость: земля стала проваливаться. Раз провалилась, два провалилась и пошла проваливаться. Я утром вышел на пророчество: смятение страшное, — мужики все продавать стали, от баб только и слышно: да, да, да, да, да, да, да, да. Так вот я вам и говорю: возможно этих людей научить чему-нибудь? Ясно, что нет. Затем, если рассудить о том, что свыше — тоже вижу беспорядок. На этих днях что я сделал? Ходят ко мне люди со всякой дрянью, меня спрашивать хотят кто о чем. С такой дрянью приходят, что в желудке тошноту чувствую и надоели — ужас. Купил я детское ружье, влез на печку, в людей прицеливаюсь. Вот дурачье — им только что почудней покажи, — очень довольны, жмутся, крестятся, вздыхают так — печка того гляди развалится. Видали такую глупую сволочь? — Тут заглянул я в небо: как там бог? все ли каурится? — ничего подобного: в небесах солнце как павлинье перо и верховное начальство улыбается. — И многое в этом роде — стал я к нему непочтителен, — вижу: отношения не меняются. Я сам по себе, бог сам по себе. Задумал в одно время отменить его вовсе — нет, застарел он очень

и хитро устроен. Между тем полное взаимное непонимание. Однако нельзя давать сбить себя с толку. Да! Между прочим: барина Виктора Матвеича черти с квасом съели.

* * *

Узнав о моем выздоровлении, Наташа примчалась ко мне с плачем радости.

— Наташа, радость моя, — ну, вот я вас вижу наконец, — вот все, что я сумел сказать.

— Миленький, — закричала Наташа, — однако, руки за спиной, — подула мне в лицо, и я зажмурился. Тут мне показалось, что мы так прекрасно подходим друг к другу. — Она все дула мне в лицо и гримасничала долго, чтобы скрыть слезы — подумайте, как много ей пришлось плакать в ее крошечной жизни.

— Я все плачу и плачу — вот! — сказала она.

— Красавица, душка моя, — сказал я и хотел ее обнять, но по глупости не решился. Правда, она скоро ушла, но все же один раз она меня поцеловала. Она все же несколько любила кроткого Василия Ивановича. У меня же перед глазами небо приняло вертикальное положение и бездна заслонила взгляд, когда ее рот коснулся божественных уст бедного Хольдер Вейне.

Я мог бы воспользоваться благоприятным днем и повенчаться с нею на завтра же, но дома ей рас-

сказали, что я стал полоумным, полупомешанным, этому легко было поверить, и она более не приходила.

Мне было очень горько. Натали была моею первой любовью.

* * *

Мой план был решен. Я ждал только согласия магистра на мои условия. Я подверг испытанию всю его любовь, но любовь к своей земле, любовь к дорогой ему плоти были его сущностью, его собственной жизнью; умертвив любимое, он должен был погибнуть, сгореть изнутри. И я готовил ему спасение заодно со спасением мира.

Тем временем ангелы разбрелись по земле, я отправил их бродить по миру. Они залетали обратно в рай для рассказов и возвращались сопровождаемые новыми беглецами.

Их легионы удерживались моим приказом от вторжения в людские толпы. Застенчивость и дисциплина всегда им были присущи, но страсть к земному и жажда жизни лишали их не раз самообладания. Они вились в домах, ходили тучами над городом, точно разные ветры дули одновременно.

Архангел-блюститель весь в поту поражал меня ежедневными донесениями. Он появлялся на вечерней заре загорелый и все более корена-

стый и голосом охрипшим и тяжелым повествовал о повальном заболевании серафимов — любовью, обжорством и алчностью к вещам, растениям, стихиям. Ангелы воровали; они селились в необитаемых местностях — и, мечась по земле, бессмысленно крали, где что могли, избегая причинять зло. Один кормил остатками небесной пищи молодого мохнатого пса, другие два вырвали куст жимолости из сада и летали с ним, не зная куда приткнуться. Стая херувимов угнала корову и благоговейно разглядывала ее устройство, пораженная свойствами ее дойности и пищеварения. Один из наиболее углубленных духов вырвал пару булыжников из мостовой и молился над ними в тишине.

Многих обуяла безудержная страсть к физическому труду; во время обеденных перерывов и по ночам ангелами рылись рвы, фабрики оживали внезапно с полуночи, грохоча молотом и свистя ремнями. Ангелы, невидимые, преследовали женщин и, подавляя в себе нескромность, до изнеможения пели и выли над ними, подражая голосам животных.

Архангел не раз багрово краснел в течение рассказа, на лбу его появлялись веснушки и он ведрами пил сельтерскую воду.

— Возле ревельского порта я сам был свидетелем печальной сцены.

Растерянные духи слетались под вечер над морем. Ребенок сидел на берегу один; забыв, что он один, спросил, протянув палец: мама, — это гуси? — Стая вытянулась, темнея и мерцая; простертые руки гнули воздух, насыщая ладони его упругостью, ангелы в тоске и страсти изумлялись ветру, стеклянной густоте и запаху вод.

Телеграфные столбы содрогались от дрожи проводов, белый дом затих на берегу, и травы седели на свету, ложась космами. Рты ангелов горели и глаза были больными от счастья и непонимания (ибо просторы и числа звезд — ничто перед дыханием жизни); они глядели на трехпарусную лодку, тяжело плывущую в нежной воде — перевели взоры и ринулись и повисли над берегом, увидев ребенка.

Ревность, любовная зависть обратила их тучу в пожар. Они горели.

Ребенок встал и пошел утиным ходом, — духи двинулись за ним, глядели на впадину под его затылком, где лежал волосяной хвостик в розовой теневой ямке. Он дал им свои руки, и они разглядывали ладонь и пальцы, он отстранил их повелительно, маленьким ростком руки; глаза ангелов выражали рыдание, тихий разум омрачало черезмерное наслаждение непонятным; ребенок был важен с ним и спокоен, как корабль.

Один из них глядел издали, лицо его исказилось — и вот как снежный ураган он свергнулся к ногам ребенка, схватил его и поднял плечи крыл, и белые веера крыл, свистя, расправились и напряглись, чтобы, ударив воздух, взмыть.

Тогда я вскричал: — «Агнат!»

Крылья его охватила буря, они бились и гнулись, вихрь вырывал пласты перьев из белых глубоких гнезд. Он впился в ребенка губами — можно было думать, что он сожрет его. Раздался вопль ангелов. Ребенок был мертв.

Духи рванулись обратно к морю; в почернелом воздухе разметалась белизна отлетавших. Они уносили Агната, который вопил и бился. С берега бежала женщина.

Я четырежды призвал Рейтемейнросса, чтобы воскресить ребенка. Напрасно.

— В море утонуло четырнадцать ангелов. Обеспамятев от влюбленности в море, они дни и ночи висели над водами, свисая все ниже; клочья крыл разносили волны. Бури вставали, неслись черные гробы волн. Море держало ангелов за крылья, черная сущность вод глотала их белизну, глотала ангельские головы, опрокинутые навзничь. Тяжкая льющаяся живая огромность вод погубила их стаю.

Тонкие тела утонувших ангелов качались под волнами, зеленые пузыри воздуха клубами

вились на зеленых крыльях, лица глядели по направлению глубины, рты были кругло раскрыты, как у белых рыб.

* * *

Между тем я все еще ждал согласия магистра. Магистр колебался. Я все более верил в свою победу на земле и на небе. — Рейтемейнросс, я загнал тебя в угол, — говорил я. — Действительно, я ощутил в себе и в мире окружающем пламенную вибрацию его скорби. Моя страстная любовь к земле и безумное упоение землей со стороны небесных духов — были одновременно и его любовью и упоением; — они преодолевали в нем его мрачную волю к истреблению несовершенного земного мира и его ревнивые к нему чувства. Он страдал, я создал ему чудовищную пытку, взбудоражив мировой застой, небесную неподвижность и разъединение земли и неба. Его тоску и полыхающий трепет страсти разделяли небеса, подвергнутые ныне распаду.

Однажды дети, игравшие у ручья, обступили меня вместе с животными, пасшимися возле, и глядели на меня тоскующими глазами архангелов, и нередко взгляды женщин, обращаясь ко мне, выражали мольбу небес о возвращении им утраченного покоя.

Над долиной Москвы, видимой с Воробьевых гор, появился танцующий в небе бешеный конь; и ежедневно на рассвете я спускался к реке или взбирался на безлесный холм, чтобы видеть танец небесного коня.

В небесах невидимо строились громозвучащие горы. Конь ударял разъяренными копытами задних ног и взвивал ввысь великолепную тяжесть своего крупа; шея змеем летела за головой, ноги поджаты, живот горит между черных колен; он прыгал на передние ноги и скакал вправо и влево, зубы его выражали чистую ярость. Свист сияющих пропастей и кипение гор и удары мчались за ним. Он останавливался как бы утомленный летом пространств и мчался, не сходя с места, буравя клокочущими копытами землю.

Уханье неслось из ущелий, земля шевелила горбы свои, стон гудел в ее утробе, — земля ежила лес, и я видел, как корни выходили из земли, цветя отростками и нагибая ствол.

Конь взлетел и стал четырьмя ногами сбоку на отвесной стене скалы, как магнит на железо, и бил со звоном камень под ногами, висел и плясал на стене, и тень его висела до низа горы, и хребет содрагался божественным буйством.

Это был танец страсти Рейтемейнросса, это любовь бога плясала над миром, им осужденным на казнь, над миром, отвергнутым судом

его, над миром, откуда бог должен быть изгнан.

Я слышал грохот воздуха, взрываемый долбящими копытами Рейтемейнросса, подобный песне бога к земле:

— Ты лежишь подо мной, отделенная пустотами от моих сияющих материков; твоя черная груда тепла, — и он парил, лаская себя солнечным ветром.

— Твое дыхание черный смрад и красная музыка; в твоей крови грязь и смерть и музыка! — и он взлетал, как огонь, извергнутый зевом горы.

— Ты плоть, плоть, плоть, цветущее гниение — я люблю тебя. И он взвивался как фонтан хулы и страсти, и океан ветра кипел и бросал своего бога над телом его земли между любовью и гневом.

Во время последнего его танца я заметил, как тень танцующего коня грянулась о белую стену торгового склада на Болоте близ Каменного моста и отбила штукатурку на стене в форме конского контура.

Ах! Я уже видел в мечтах Москву озаренной сошествием рая. Триумфальными вратами счастья стали входы в людские жилища, лица сияли простотой и славой прозрения, сердца от-

дохнули мгновенно, — вещи хорошели на глазах...

* * *

Наташа пришла и холодно просила явиться к Виктору Матвеичу.

Я явился.

— Принимаю ваши условия, — сказал магигистр. — Мендель, истаявший, сидел в углу, пряча взгляд. Я наклонил голову, молча. Магистр пошевелил иссохшими губами и спросил вина. Мендель налил в три стакана. Магистр повел на меня глазами, — белки его глаз были ярко желты; и Мендель смотрел на меня пристально и трепетал злобой. Одурманенный, я поднял стакан — тут крикнули мои сторожевые посты. Я все еще не понимал, но отнял питье ото рта и снова поднес его к губам, — раздирающий крик сторожей раздался ближе... Тут я увидел перед собой горящие взоры убийц.

Я встал с растерянным видом.

— Я отнесу вино Наташе, она любит сладкое и крепкое, — сказал я и пошел к дверям, Мендель не выдержал и завизжал; несчастный был близок к сумасшествию; он злобно вцепился в меня и вытряс стакан из моих рук. Я стоял, не смея поднять глаз на моего убийцу и смотрел на светлые цветы ковра, омоченные ядом.

Наконец, мерно прозвучал голос магистра, повторяя о его намерении на завтра же предать истреблению Москву.

Вероятно, я умер бы от горя в этот день, если бы не была со мной вера моя в спасение мира.

Я поклонился, взял шляпу и пошел к Натали.

Я предложил ей руку и сердце; она была довольна, но колебалась. Я разуверил ее относительно плохого состояния моих умственных способностей и предложил поехать вместе в Москву, чтобы развлечься немного, покататься на автомобиле и пойти в варьетэ. Она заплакала, оттого что много скучала и была все более замучена, и согласилась.

Я робко присутствовал за обедом в этой печальной семье, и когда Натали предупредила о своем отъезде и магистр тяжко глянул на меня, я ответил ему уверенным и ясным взглядом: он должен был помнить, что смерть Натали входила в наши условия. Он промолчал страшным молчанием, глаза его вдруг опустели...

Опечаленный, но полный надежд, я прошел один к условному месту и, стянув свои воинства, отдал им приказ ждать меня близ Петровского парка для совместного вторжения в рай и призыва рая на землю. В Москве я открыл Наташе, что магистр любит ее, и обещал ей величайшее

счастье, если в течение дня она будет во всем мне послушна.

Я вступил в рай нога в ногу с юной Натали, изумленной и недовольной. Натали ныла потихоньку, я втянул ее за горячую ручку и скрыл до времени за выступом бледных построений рая. Между тем я сам выступил вперед, подняв чело. Мечи архангелов взлетели, и мне произнесено было отлучающе проклятие; но желтый отблеск отчаяния уже горел на остриях архангельских мечей, и по раю звучало стонущее горем дыхание бога; стоячие взоры духов полны были недвижным изнываньем; я произнес прекрасную речь в защиту земли, и в конце каждого периода речи духи заунывно возглашали анафему. И в то же время я чувствовал, что безветренные пространства рая охвачены гудящим содроганием, и я заметил, что радуги рая разогнулись. Натали была скрыта выступом справа от меня — и безгласные образы принимали наклон в сторону ее убежища; огненные скопления невоплощенных идей по радиусам огромного круга поплыли медленно к его центру — Натали; — она стояла скрытая в сердцевине сияющего колеса, и когда я вывел ее и поставил на возвышение, огромный круг двинулся следом и повис над ней и вокруг нее, как павлиний хвост, размером в половину земных небес.

Тут по всей небесной округе пошел звон — звенели раскованные запреты. Струны небесных арф вздулись и лопнули, издавая вой вихрей, трубы архангелов взревели и замолкли с разорванным горлом. Но силы небесные! Что сотворилось с небесными силами?

Тела архангелов дымились, вздыбясь горою мышц, волосы заогневели, уста разъялись, алея; гортани заклокотали; ризы блаженства свились, истлевая.

Миг — и по раю пронеслось воркованье и клекот охрипших от страсти архангельских глоток. Пробужденный дыханием плоти осатанелый от радостей рай задохнулся бы в своей бездыханности; — но я призвал ветер с земли — из Петровского парка пахнуло прудовой сыростью и лесным воздухом; — ангелы наскоро отдышались и, сплотивши сонм, повлеклись к стопам Натали. Старшие архангелы произносили одновременно богоотступнические речи прославления плоти, прерывая их хохотом или рыданием; — откуда-то непрерывный несся вопль.

Натали скрылась из глаз моих за башнею крыл и кричала:

— Василь Ива-ныч! Да Василь Иваныч же!

Я вынес ее, неимоверно сердитую на средний холм.

— От них покойником пахнет, невозможно, пристали! Вот еще! Ну, чего еще там! Не лезь! — кричала она и, по правде говоря, дралась как только могла.

Внезапно сверлящий свист покрыл кипение рая, и запах гари донесся ветром с земли...

Наступило утро воскресенья, и от Воробьевых гор белый луч пал на Москву, образуя провал радиусом в пять с половиной верст, от реки через Никольскую и Покровку до Хитрова рынка.

— Проси защиты, Москва гибнет, — сказал я Наташе.

Она звонко и холодно с раздражением просила защиты.

Рай возгорелся семицветно и потек бурною оперенной белоогненной лавой в долину земли.

(Как сейчас помню железную крышу вокзала; сверкающий вихор трав качается возле кирпичной трубы, плотные красные залежи ржавых рельс во дворе, — архангел с трубою на крыше. На всех вокзалах ангелы с трубой; клочья райского тумана еще виснут на них; они столько нагнали в Москву райского тумана в этот день, что долго потом солнце рассеивало его.) — Мы недолго ждали там вверху; Натали вцепилась в меня холодными лапками, и мы низверглись к трамвайной станции Воробьевых гор. Тут

Натали вырвалась от меня и побежала; она бежала так, что ее щеки тряслись и глаза останавливались, как у рыбы; вскоре она превратилась в несущийся вихрь юбок и голых колен, которые множились, мелькая.

Влетев в комнату, она упала на грудь магистра и на мгновение превратилась в ничто, лишь пронзительный крик ее любви стоял в воздухе целую вечность. Я его слышу теперь и оттого, что был этот крик, моя близкая смерть представляется мне нестерпимым безумием.

Магистр ответил голосом ревущего огня, увидев Натали живой, и упал перед ней на землю.

Земля качалась в объятиях рая, — земное зло уходило в верхний опустевший рай, призрачной вереницей уродств.

Магистр терзал Натали поцелуями, стеная; она гладила его длинными детскими руками, выговаривая ему за все.

Потом встала, вытянулась и сказала мне и ангелам:

— Идите вон, вон, вон с моей земли. Теперь все будет попрежнему.

Такова была воля земли,—она ждала только слова. Тело земли содрогнулось и изрыгнуло в окружные бездны чуждые ей сонмы божеств.

Вырвавшись из тесноты магистрова тела, Рейтемейнросс возвращался вверх, гремя черным

воздухом своего окружения, и повис трагически в пустоте.

Магистр, на мгновение помертвевший, с нежной улыбкой счастья был простерт перед нами живой.

Как белый ураган, легионы духов летели обратно в небеса; вихри ломали им крылья и били их нежные лица, искаженные рыданьями. Они застыли вверху, и время расплавило их скорбные очертания до жалкой призрачности.

Я же лукаво скрылся, доживая последние часы под кровом сумасшедшего пророка, в нищете и скорби, совершенно не выходя на воздух; — и ныне жду смерти, непрестанно целуя землю.

Сегодня я сказал себе: — вот скоро смерть, и вышел; из скрытого места я увидел двух влюбленных в саду — жену и мужа.

Натали и магистр стояли рядом, бледные от радости и улыбались друг другу иронически.

О! Я знаю теперь, что прекрасная земля еще несовершенна, и, блаженствуя, она все еще строит самой себе дерзкие гримасы, но в горящих глазах этих двух людей я увидел грядущее преображение земли.

СОДЕРЖАНИЕ

25868

2 руб.

Р.



СКЛАД ИЗДАНИЙ

МОСКВА, ЦЕНТР, КРИВОКОЛЕННЫЙ ПЕР., 14